

ФЕВРАЛЬ 1991

2



уральский С Л Е Д О П Ы Т

Василий Ильич Скурихин — мастер телефонной связи, ныне уже пенсионер — стоит на веранде старой коммуналки, сдержанно и довольно усмехаясь: еще один проезжий «клюнул» на его чертовщинку. Не беда, что, засмотревшись, угодил на своем ЛУАЗе в глубокий придорожный кювет. Наподольше задержится. Будет возможно потолковать со свежим человеком.

«Чертовщинка» Василия Ильича — неподалеку от дома, среди ветхих хозяйственных сараюшек, окружает его мизерный огородец. На высоких шестах вырезанные из железа, жести, дерева и прочего подручного материала парят в небе фигуры фантастических зверей и птиц. Иные вроде узнаваемы: как будто двуглавый орел со старого русского герба, как будто глазастая птица Сирия, как будто мифический грифон — полуптица, полудев... А прочие — верх фантазии, изобретательности, небывальщины. Чертовщина, одним словом. И все это, соединенное мастерством телефонной связи в хоровод, крутится-вертится и скрипит на разные голоса, словно разговаривают птицы-звери каждый на своем собственном языке.

Смотришь на эту фантазмагорию, и почувдаются то герои гоголевской «Майской ночи», а то вдруг проглянут звероподобные лица персонажей «Капричоса» испанца Франсиско Гойи.

Откуда, думаешь, взялась такая необычная фантазия в руках и душе мастера телефонной связи из шахтерского поселка Усьва в Кизеловском угольном бассейне Пермской области?

Василий Ильич и сам не знает. Посмеиваясь и угосая гостей холоднющим квасом, он охотно слушает, рассказывает сам и отвечает на вопросы.

Как страшный сон, видится ему до сих пор картина из собственной юности. Учился в голодные военные годы в кизеловском ФЗУ и однажды ночью по гвоздям, предварительно вбитым в стену, отправился в самоволку — раздобыть чего-нибудь съестного. Но его застучали и посадили на остаток ночи в бельевой склад.



В полудреме на тюках белья парень вдруг почувствовал, что по нему заходили крысы — голдные не меньше его самого. От ужаса он зарорал так, что должен был взбудоражить всю округу. Но фезеушно начальство знало, чем наказать ослушника, и не спешило открывать двери склада...

— Это еще мягко обошлись, — усмехается сейчас Василий Ильич. — За побег из училища домой полтора года полагалось.

— А чертовщинка эта откуда? — переспрашивает он. — Кто ее знает... Был у нас на шахте в пожарной команде один чудак Гарифуллин Ибатулла. Шутки любил. Бывало, сварганит на досуге в своей пожарке страшное какое-нибудь чучело и поставит его в сумерках за углом на тропинке. И смотрит, как люди шарахаются, поминая кто мать, кто бога. Однажды соорудил чучело коня с казаком в седле и втащил в клуб во время киносеанса...

Василий Ильич стоит на веранде и смотрит вдаль. Видна с веранды река Усьва, стремительно бегущая по отрогам близкого хребта на встречу с Чусовой. Видны остатки построек бывшей угольной шахты «40 лет Октября». Видна часть улицы с домами, что сработаны в тридцатых годах завезенными сюда кулаками. Виден лес, цепляющийся верхушками за ошметки низких туч...

А у дома Василия Ильича тем временем затормозила шикарная нездешняя машина и вышли из нее элегантные нездешние люди. Оказалось, что на чертовщинку Скурихина «клюнул» не кто-нибудь, а политический советник ГДР в Москве, проезжавший мимо по каким-то трудовическим делам.

Василий Ильич спокойно улыбается, опершись на перила веранды.

— Интересно, сколько же, к примеру, такая машина сбóит?

Ю. Сентябрь

Фото Олега Капорейко

ФАНТАЗИИ Скурихина



Учредители —
 Союз писателей РСФСР,
 Ассоциация советских
 книгсиздателей,
 трудовой коллектив журнала
 Издатель —
 Средне-Уральское
 книжное издательство



2

ШКОЛА — ХРАНИТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРА
 История создания уникального музея якутского фольклора учителем Н. Т. Степановым

И. Нюргусэв

3

БЫВАЛИ ДНИ... В. Машин

6

ЛЕВ ТРОЦКИЙ НА УРАЛЕ

Новые архивные материалы — уральские страницы биографии первого руководителя Красной Армии, председателя Реввоенсовета Республики. Его роль в дискуссии с Лениным и Сталиным об использовании царских военспецов; его крутые меры по наведению порядка в армии и в тылу.

В. Войнов

10

НАХОДКА НА РЕКЕ АЗЛАС

Г. Бординских

10

ТИПОГРАФИЯ ЛУКИ ГРЕБНЕВА

Редкостная типография книг духовного содержания в Вятском крае. Мастерство художника книгопечатного дела, позволяющее выпускать шедевры и книги для массового читателя. Коллекция старопечатных книг, ее судьба.

В. Семибратов

12

**ОНИ ДОПОЛНЯЮТ КНИГИ,
 ОНИ ИСПРАВЛЯЮТ КАРТЫ...**

Военные строители создают железную дорогу Ивдель — Обь.

С. Верников

13

КУЛЬТ ЖУРАВЛЯ У БАШКИР

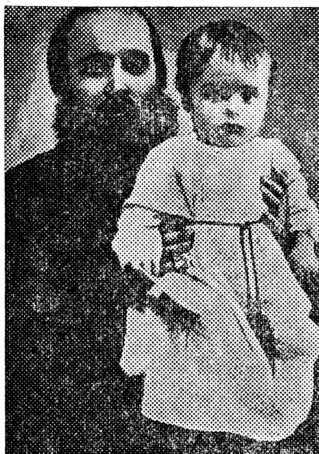
Этнографический очерк о птице, которая дала название венгро-башкирским племенам.

Р. Самарбаев

14

ШУРКИНА ВОЙНА

Фрагменты романа «Стеклянный дом» — тема детства и войны. Два антагонистических понятия, но они соединились в на-



шей истории. Опаленные войной мальчишки, утверждающие добро и память на земле.

Л. Фомин

25

НИЧТО НЕ НОВО — ТОЛЬКО МЫ.

Фантастическая повесть.

Невероятные приключения трех Одиссеев в космосе и на Земле. Их встреча через 500 лет. Подведение итогов и философское осмысление жизни, добра, любви.

А. Чуманов

53

ВИКТОРИНА-90. ОБЗОР ОТВЕТОВ.

О. Князева

55

**НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ:
 ГОД 1991-Й**

Список памятных дат НФ, составленный с помощью наших читателей.

68

ЗМЕИНЫЕ ГОРЫ

Традиционная для журнала экологическая тема. Каждое живое существо, будь то рыбы или змеи, просят у нас защиты.

А. Чибилев

70

СЕМЬ ДНЕЙ В ДЖУНГЛЯХ

Очерк рассказывает о приключениях советских специалистов в Африке. Экзотические обычаи племен. Дорога, полная опасно-



стей и неожиданностей. Страстное желание африканской девушки иметь белого ребенка.

А. Рачков

77

БИОГРАФИЯ «КОЗЛА»

Игра в кости: где и когда возникла, кто и зачем играл.

А. Понизовкин

78

ЗООСАД НА МОНЕТАХ

Райские птицы и носороги, антилопы и курицы с цыплятами, каракатица и тюлень, спрингбок и свинья — весь этот удивительный мир животных можно увидеть на монетах всех стран мира.

Г. Мурзин

уральский ФЕВРАЛЬ 1991
 СЛЕДОПЫТ 2

Словом, экспонаты школьного музея — итог больших трудов и упорства. Ведь только записанное от руки Н. Т. Степановым составило около 500 произведений фольклора.

Лишь малая толика собранного им за 40 лет размещена в экспозиции, остальное держится в запасниках. Помещение музея состоит из трех школьных классов, а начать строительство специального здания под музей «отцы» района так и не осмелятся.

Непреодолимую ценность для науки и культуры составляют исторические рассказы и предания якутов — основной фонд музея. К ним уже обращаются фоль-

«ньэ» — суффикс, определяющий, что относится к чему, а «мыскын» — чукотское слово, соответствующее по значению словам «холм, бугор, курган».

Большое письмо хранителя музея ученый перевел на русский язык и, включив в свою статью «Топонимика Западной Якутии», почти полностью опубликовал в 1985 году в газете «Мирнинский рабочий».

«В годы войны, — писал Н. Т. Степанов, — я работал на Чуоне и с интересом слушал рассказы местных жителей. В верховьях Чуоны, говорили, есть местность Мархая, безлесная, заросшая ерником. Водораздел. Жители с удивлением и некоторой долей таинственности рассказывали, что при грозе молния обязательно бьет по этим безлесным зарослям ерника и следов этого сохранилось очень много, земля там вся израненная. Я не мог в то время объяснить суть этого

Школа — хранитель фольклора

Иван
НЮРГУСОВ

Уникальный музей фольклора и литературы создан в Чаппандинской средней школе Ленинского района Якутской АССР. Его экспонаты привлекают внимание всех тюркоязычных и монголоязычных народов.

Основал школьный музей и руководил им Николай Тарасович Степанов, заслуженный учитель Якутской АССР, Почетный гражданин района.

Музей — его давняя мечта и результат многолетних усилий. Охотно вспоминал Николай Тарасович, как еще 25-летним молодым человеком он, подавляя естественную робость, встречался со старым шаманом С. В. Андреевым-Хаххаа. Ему удалось записать тогда «Песнь восхождения шамана к небожителям» размером в 960 стихотворных строк и тексты двух других камланий. При этом шаман каждый раз облачался во все свои одежды и доспехи, достигал при исполнении наивысшего экстаза, умудряясь при этом объяснять смысл пляски, песнопения, телодвижений...

клористы, этнографы, историки, студенты-дипломники. Ведь в этих тщательно обработанных хранителем источниках сосредоточен мир средневекового якута и тунгуса: их хозяйственная жизнь, социальная борьба, нравы и верования.

Мир предков интересен не только сам по себе как овеянная седая старина. Из него можно, оказывается, извлечь много полезного для сегодняшней нашей практической жизни.

В числе ученых, часто обращавшихся к услугам музея, следует назвать Михаила Спиридоновича Иванова-Багдарына Сюлбэ — автора нескольких книг по топонимии Якутии, Восточной и Западной Сибири. Однажды он спросил Николая Тарасовича: что означает название речки Чуона, впадающей в Вилюй. Последовал любопытный ответ: слово «чуо» на языке юкагиров означает «железо». На современной территории обитания юкагиров, в Каларчинской тундре, есть холм Чуоньэ-мыскын. Здесь «чуо» — железо,

удивительного явления природы. А сейчас думаю, что, наверное, там имеются мощные залежи железной руды».

На деле так оно и оказалось. Геологи, опираясь на письмо Степанова, именно в тех местах обнаружили достаточно богатые залежи железной руды, о чем в 1988 году сообщила республиканская газета.

Между тем по завершении первой и второй очереди строительства Вилюйской ГЭС обширные пойменные долины по обе стороны самой Чуоны и многих ее притоков навсегда были затоплены искусственным Вилюйским морем. Уцелели лишь верхняя часть самой реки и начало Чуоны, смыкающейся с Нижней Тунгуской, притоком великого Енисея.

Гнать своим ходом трактор на ремонт в МТС — об этом в ту осень не могло быть и речи: сношен, рассыплется... У него хватило силенок лишь на то, чтобы доковылять до сторожки конюха, где и поставила его на прикол Зинуха, трактористка.

Сама же Зинуха, погрузив на салазки мешок пшеницы, выданный ей за работу на пахоте и обмолот хлебов, отправилась по первому, крепко уже подмороженному снежку в Ухоловский район, откуда была родом.

Пропадала она там, в безвестной своей деревеньке, всю зиму, а по весне опять вернулась к нам, в Банаки. Удивила, между прочим, всех наших баб и девок: живот выше носа.

— Замуж вышла? — спросили ее.

Зинуха, рослая, в шубейке, валенках и шали, потупилась, краснея сквозь пигментные пятна на лице.

— Не-е.

— Во дает! Ветром тебя надуло, что ли?

Ничего не сказала на это Зинуха, но деревенские бабы — народ ушлый. Стали прикидывать да подсчитывать, и вышло у них: понесла Зинуха в то время, когда через нашу деревню ехали на фронт солдаты-артиллеристы.

Мы тогда, помнится, спешно домолачивали на току последнюю скирду пшеницы. Зинуха в замасленном комбинезоне, мужиковатая, с гаечным ключом или обтиркой в руке, колготилась подле то и дело издыхающего трактора, что подавал через брезентовую трансмиссию остатки своих сил на барабан конной молотилки.

Первым военные грузовики с пушками на прицепе увидел дед Макарок. Грузовиков было три, и пушек столько же — длинноствольных, на резиновом ходу. Приближаясь со стороны Кольчей, густо пыля, они затормозили напротив риги. Из кабины головного автомобиля выпрыгнул — кто бы из нас мог ожидать такое! — Митрий Ларин, младший отпрыск деда Макарка, а теперь, судя по кубикам в петлицах и фуражке с лакированным козырьком, военный начальник. Командир батареи, как стало нам известно позже.

— Сыно-о-ок! — вскрикнул, точно ужаленный, наверху омета дед Макарок и — где руки, где ноги — покатылся вниз.

— Сынок, соколик мой... — растроганно забормотал он после объятий. — Откуда и куда путь держите?

— Куда все, батя, туда и мы... А попутно вот, выпало так, заскочил к вам. На минутку.

Через минуту-другую машины вместе с пушками оказались под купами тронутых осенней желтизной ветел, а дом Лариных загудел, как улей. Митрий и пятеро его подчиненных уже сидели за столом.

Народу понатрилось в дом — курочке клюнуть негде. Больше всего было нас, пацанов, но забегали и солдаты, перво-наперво спрашивая у Митрия, не встречал ли он там где-нибудь наших, банаковских мужиков. Нет, говорил Митрий, фронт велик, поперек всей страны тянется. Бабы уходили, возвращаясь на ток, к прерванной молотьебе.

Зинуха, трактористка, тоже прикатила.

— Солдатики, дяденки милые! — отчаянно заголосила с порога. — Кто из вас понимает толк в машинах?

Военные с улыбкой переглянулись.

— Смотря в каких.

— Ну, трактор, язви его, «хетезе!» — продолжала Зинуха. — Опять заглох проклятый, а я... Ребята на фронте, одна я из бригады осталась. Помогите, если можете, а?

Зинуха заревела, и военной засталице стало смешно. Один из компании, рыжебровый, с каким-то дололе неслыханным у нас в деревне говорком, выразительно глянул на Митрия.

БЫВАЛИ ДНИ...

— Рас-срешите, товарищ капитан, мне?

С этими словами рыжебровый, лихо сдвинув пилотку набекрень, удалился вслед за Зинухой. Глядя им в спину, кто-то из женщин-солдаток мечтательно выдохнул на крыльце у Лариных:

— Эх, какая вышла бы пара!

Мне в эти минуты хотелось быть и в доме Лариных — слушать военных гостей, и на току — глядеть, как Зинуха с рыжебровым сержантом чинят трактор, и возле пушек. Особенно — возле пушек, где табунилась ребячья мелюзга, пристаая к оружейной обслуге.

К стоянкам военных с обеих концов деревни и с «футоров» тянулись бабки, немощные деды — несли что что: молоко в махотках, яички в белых узелках, соленые огурцы, наспех сваренную картошку. А глухонемой Пантелей, что и зимой и летом ходил в заячьей, вытертой до лысин шапке, привез на тачке два мешка отборных яблок.

Пантелей с опаской оглядел-потрогал пушку, зайдя с той и другой стороны, покачал головой в раздумье. Затем достал из кармана подсученных своих штанов ружейную гильзу и сделал жест — вроде насыпает с ладони табак в козью ножку. Я объяснил солдатам: дескать, старик спрашивает, не найдется ли у вас хоть немного пороха? От себя не преминул добавить, что есть у него, Пантелея, берданка, с которой он сторожит колхозный сад, но вот насчет пороха туговато...

Наши дипломатические переговоры с артиллеристами неожиданно прервал рокот мотора, что донесся с тока: рыжебровый сержант и Зинуха наладили трактор!

Некоторое время спустя появились и сами они, возвращаясь с края деревни откуда-то, и Зинуха была не в обычном промасленном комбинезоне, а — надо же, успела прифорситься! — в белой с кружевным воротничком кофте, в юбке и босоножках. И самое удивительное: она сама обнимала сержанта и что-то говорила, говорила ему, не то смеялась, не то плача. А когда из дома Лариных густо высыпали на крыльцо люди и Митрий подал команду: «По маши-и-нам!», Зинуха, будто ослепшая, наталкиваясь на людей, потерянно забегала вокруг того грузовика, в кузов которого запрыгнул рыжебровый сержант.

— Пятрас! — кричала она, воздевая руки. — Пятрас!

С этого дня словно подменили нашу Зинуху — тихой стала, остепенила бесенят в своих глазах и на молотьебе уже не костерила, как раньше, одряхлевший трактор. В минуты, когда приносили почту, до которой не далее как неделю назад была равнодушна, она теперь спрашивала чуть ли не первой, нет ли ей чего. Увы, ей ничего не было. Митрий тоже не отзывался. Последнее письмо от него прилетело из-под Михайлова, где, говорят, да и в газетах сообщали об этом, был кровавый бой.

Однажды вечером, будучи у нас в избе по каким-то своим делам, Зинуха пустила слезу, совсем уж вдовью.

— Да что ты, бедняжка, так убиваешься? — сказала моя бабушка Настасья. — Кто он тебе, этот человек? Отец, брат?

— Ой, баба Нась, да он... Такой парень только во снах мне снился!

Пятрас не давал о себе знать ни осенью, ни зимой, в дни вторжения немцев в наши рязанские земли, ни теперь, на втором году войны, когда фронт был от нас уже далеко и Зинуха опять вернулась к нам из своего Ухоловского района. Ее трактор, занесенный-завьюженный в пору метелей, а ныне пообтаивший в лучах мартовского

солнца, бесприютно стоял все там же, где когда-то, после молотбы хлебов, оставили его — около сторожки конюха. Весь, от баранки до колесных шипов, был он в рыжей ржавчине, но Зинуха не пришла в уныние. Тихим апрельским утром от безголосого трактора на всю деревню разнеслось позвякивание железа. На эти чисто мирные, в грехоте войны полузабытые уже звуки, тревожно напоминающие о близкой пахоте и севе, отовсюду потянулись люди. Раньше всех — мы, резвоногая пацанва. Зинуху застали с гаечным ключом в руке.

— Радиатор чинишь? — деловито спросил я, глядя, как она откручивает гайки. — Давай помогу?

Зинуха уставилась на меня с ухмылкой. Эх, не знала она, что зимой, бесцельно вертясь около трактора, я тайком запустил руку в железный ящик, где хранились разные шпильки-болты, и вытащил оттуда какую-то расстрепанную, засаленную книжку без обложек. Умыкнул, ежели сказать точней, потому как был жаден до всякого чтива. А это оказался учебник для тракториста. Зима длинна, и я успел «продрать» эту книжку, что называется. туда и обратно.

Подошедшие вслед за нами бабы и старики увидели Зинуху, улыбочивую, в полурасстегнутой на выпуклом животе шубейке, на переднем колесе трактора.

Настя Данилина осуждающе покачала головой.

— Ты бы поаккуратней, девонька. В твоём ли положении... эдакое?.. Срок-то когда?

— Какой срок?

— Во недотепа! — рассмеялась Настя. — Чай, не о ремонте говорю.

Бабы да девки выгребли из-под трактора остатки снега, пообкололи лед вокруг стоянки. Савелий Данилыч, мастак что по дереву, что по железу, вызвался залудить запаять радиатор, а дед Кирюша, кузнец, что зимой потихоньку, не особенно-то надеясь на весеннюю страду, потому как фронт был слишком близко от нас, ладил все же конные плужки да бороны, взялся теперь за большой, пятилемешный плуг, который мы приволокли на лошадях из соседнего поселка Ржавца.

Мне же Зинуха доверила подкрутить заржавленные гайки на шипах задних колес, еще кое-какое дело поручила.

— Возьму тебя, Васька, в помощники. — сказала Зинуха, чиркнув по моей щеке мазутным пальцем. — Пойдешь?

О, она еще спрашивает!

К тому дню, когда деревья готовы были брызнуть из набухших почек молодой зеленью, и дед Макарок, возложив себе на лысину ком земли, определил таким способом, что земля созрела для сева, — к этому дню мы с Зинухой уже успели поднять самый большой клин, что лежал между Зелено-Дмитровкой и Банаками, а потом переехали на новое поле, под Ремизово.

Мне нравилось, что Зинуха по утрам всегда заходила за мной. Если я еще спал, шекотала мне пятки, как маленькому.

— Раз, два, подъем! — смеялась.

А еще «раз, два» — и я в рубаше, шароварах, в солдатской пилотке, подаренной мне осенью прошлого года кем-то из беженцев, что переняли скот из прифронтовой полосы глубже в тыл.

Залить в радиатор воды или, если требовалось, дополнить топливный бак керосином — пара пустяков. Труднее было запустить двигатель. Ах, этот чертов ХТЗ! Кто-то и вправду метко расшифровал: «хрен трактор завести».

За коленчатую рукоятку брались вдвоем. Я украдкой, опасливо взглядывал на Зинуху, на ее вспученный живот, из-за которого она не могла теперь влезть в свой привычный комбинезон.

— Раз, два, кр-рутим! — командовала Зинуха.

Двигатель долго похлопывал где-то у себя внутри, смачно посасывал, а потом — фук, фук, фук! — неожидан-

но взрывался оглушительным треском. На этот шум, перестав жевать, поворачивали головы буренки, пасшиеся невдалеке, в торфяниках, налитых всклепьюемой водой и разлоченных по берегам цветущими одуванчиками. Со старых, чуток зазеленевших уже ветел, что дыбились в сырой низине под банановскими огородами, гомонливо срывалась и спешила в нашу сторону стая грачей: чуяли, шельмы, поживу.

Вместе со скворцами, тоже прилетевшими из деревни, грачи вперевалку шагали по свежевспаханному, глотали червей, перепрыгивали, взмахивая крыльями, друг через дружку, будто играли в чехарду. Маслянисто черной, остро шибавшей земным духом бороздой, что растягивалась все дальше и дальше, они прследовали трактор почти до Ремизова, до поворота, где я чистил лопатой плуг от налишей земли. Здесь на пашню с деревьев пикировало другое грачное племя — «ремизовское». В воздухе и на земле завязывалась не то чтобы потасовка, но и дружеской встречей это не назовешь. Встопоренные перья, угрожающее карканье в тысячу глоток — оглохнуть можно.

Я утихомиривал птиц, вслугивая их свистом, и пристравлялся на раму плуга. Отсюда мне была видна лишь спина сидящей за рулем Зинухи да поблескивающие на солнце шипы задних колес трактора. Глухо, подспудно как-то слышался хруст подрезаемых лемехами корней прошлогоднего осота, козельца, молочая, полыни. Влажная земля тяжело пучилась, лезла на крутые отвалы и, выворачиваясь наизнанку, хоронила под собой летошнюю стерню и всякое будущее дурнотравье. Две зигзаговых бороны, что волоклись на прицепе, довершали дело — разбивали комья, взрыхливая почву.

Иногда на ходу (за что Зинуха, конечно же, давала мне нагоняй) я перебирался на трактор. Сидя на железном, подрагивающем, как студень, крыле-кожухе, жадно, а вернее будет сказать — с дальним прицелом наблюдал, как Зинуха рулит, как переключает скорости. На какое-то время доверяла руль и мне. Сама же, пересев на мое место, рассказывала, как до войны, будучи глупой еще девчонкой, рвалась она в Москву — метро хотела строить...

— Ну и что? Не уехала? — нетерпеливыми вопросами подталкивал я Зинуху. — Председатель не отпустил?

Нет, председатель, по словам Зинухи, сделал хитрей: собираясь зачем-то в Ряжек, прихватил с собой и ее, а по пути завез в старинное село Егюлдаво, к своей знакомой. Не простая оказалась та знакомая. Первая на Рязанщине трактористка, Феодосья Уткина. Она-то — ах, как повезло Зинухе! — научила лопухую девчонку из курной избы управлять железной машиной.

Зинуха после этого два сезона пахала землю у себя в Ухоловском районе, потом год работала под Ряжском, а когда началась война...

— Как ты, Васька, думаешь, — перебила вдруг себя, глядя из-под ладони в синее марево поля, — смахнем до вечера эту загонку?

— Надо бы, — сказал я.

Но, увы, сделать это нам в тот день не удалось: на четвертом или пятом круге, когда мы приближались к Банакам и были уже под самыми огородами, Зинуха вдруг... нет, не сказала, а зарычала на меня, как медведица:

— Стопори! Сто-по-рри!

Испуганный, я надавил босой ногой на педаль. Со скорости она сняла трактор сама и тут же взвыла, обхватив свой живот обеими руками:

— О-ой, мама! Мамочка-а-а!

— Зина! — выскочил я из-за руля и растерянно затормозил ее. — Что с тобой, Зина? Скажи, что?

Эх, да зачем спрашивать? Чувствуя, как по спине забегали мурашки, с надеждой поглядел на деревню. Вен и хата наша, похожая на сказочного Ваньку, стриженного «под горшок». Третья с краю. Бабушка Настасья в огороде копошится — грядки готовит под огурцы.

— Ты, Зина... к бабушке моей. Она в этом деле того... Повитуха! Дойдешь одна?

Зинуха тяжело оперлась руками на мои плечи, слезла с трактора. К деревне ползла медленно и неуклюже, путаясь в цыганской своей юбке. Бабушка Настасья, увидя ее с огорода, наверняка почувала неладное. Поспешила навстречу, обняла, повела в избу.

Когда за ними закрылась дверь, я поглядел на трактор. Он молотил вхолостую. Заглушить? Но зачем? И я сел, поставил ногу на педаль, выжал сцепление...

От волнения, от растерянности я на какое-то время потерял способность соображать что-либо и очнулся лишь тогда, когда в голову стукнуло: неуправляемый трактор, влача за собой плуг и бороны, прет не туда, куда нужно. Я судорожно вцепился в руль, отполированный руками Зинухи до блеска, и закрутил влево. Ах, какая загогулина следа нарисовалась позади, на вспаханной уже земле! Не знак, а целый значиче вопросительный. Еще один, точно такой же, остался и на залежи, когда мне удалось остепенить, укоротить норовистый трактор и взять на прямую.

— Бороздо-ой! — гордась в душе своей победой, властно заорал я на него, как на лошадь.

Мощно рокотал мой «конь — стальные бока». Мощно и, как чудилось мне, музыкально. Под такой аккомпанемент можно было петь все, что душе угодно: и «Степь да степь кругом», и «Трех танкистов», и даже нашу деревенскую рассыпуху-«Мотанечку». Но, кажется, лучше всего, душевней получалась у меня «Бывали дни веселые», когда...

...лошадок отпрягешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом пойдешь.

Не знаю, сколько сделал я кругов. Должно быть, не меньше десятка, и тут двигатель... смолк. Вот так штука! С чего бы это? Сломался? Не дай-то бог. Скажут, конечно, что я сломал.

Холодея от мыслей, какие роились в бедной моей голове, я спрыгнул на пашню, обошел вокруг трактора, пощупал его горячие маслянистые «ребра». Что делать? Ничего толкового придумать не мог — сел на раму плуга и расплакался, вытирая слезы пилоткой.

В расстройстве не заметил, как подошел бригадир Миша, окрещенный Лапкой за природную хромоту, в расхожем костюмишке, небритый. Сажень на плече, похожий на громадную букву А: наверное, мерил, сколько подняли земли конные пахары там, за ригой.

— Эй, ты никак ревешь? — удивился. — Что с трактором?

— Я не виноват. Гром расшиби, не виноват!

— Да погоди ты, не божись, никто тебя не винит покаместь... А где Зинуха?

— Рожать ушла.

— Как... рожать? — глупо спросил Миша Лапка.

Я ответил еще глупей:

— Откуда мне знать — как?

Миша хмыкнул, прислонил сажень к заднему колесу и закурил сигарку. Хромо потоптавшись затем возле трактора, он провернул разок-другой заводную рукоятку, прищурился, соображая что-то. Сообразил, наконец: сунул былинку прошлогодней польни в топливный бак, а вытащив ее, засмеялся:

— Ба, Васька, да у тебя же керосину в баке нету! Ни капли. Все изжег...

У меня словно камень с души свалился. Еще легче стало, когда он сказал, что с утра послал в район, на нефтебазу, Кольку Поликахина, и тот к вечеру привезет бочку керосина.

В знак расположения Миша дал мне докурить свой чинарик.

— Айда Зинуху проведаем? — предложил я.

— А что, это идея!

Зинуха лежала на кровати под лоскутным одеялом, счастливая и умиротворенная. Миша подмигнул ей с порога.

— Кого принесла?

— Дочку, — послышалось в ответ.

— Поглядеть-то можно?

Зинуха, смущенная, проворно убрала пухлую грудь за пазуху и отогнула уголок одеяла. Миша разразился вдруг многоцветной речью — как девочка хороша, как прекрасна. Аленький цветочек! Солнышко с вишневыми глазками! Вся в маму! Зинуха растрогалась:

— Бабусь, не найдется ли у тебя чего-нибудь... для Михаила Кузьмича. За мой счет, а?

Бабушка Настасья, побулькав тайком за дощатой загородкой, вынесла на стол полстакана водки. Потом принесла соленый огурец, луковицу, вареную картошку, забеленные молоком ши из молодой крапивы.

Миша торжественно вздыбил стакан.

— Что ж, как говорится, за рабу божию... Погодите, а как мы ее назовем? Предлагаю: Маруся!

Я сразу же раскусил, отчего в голову Мише наперед всех пришло это имя: зазнобу его так зовут. Деваха — я те дам! Из наших, из банаковских. Еще с довоенных пор ухлестывал Миша за ней, и дело теперь, судя по слухам, шло к свадьбе.

— А что, — сказала Зинуха, — и я не против. Хорошее имячко!

Миша кивнул ей в знак одобрения, выплеснул в себя водку, словно в какой-нибудь сосуд, и, похрупав огурчиком, вскинул указательный палец.

— Так и утвердим! Да, а как Марусю по батьке?

— Батьку звали Пятрас, — послышалось с кровати. — Петя, значит, по-нашему. А вот фамилию я у него не успела тогда спросить, впопыхах-то...

Бабушка Настасья вздохнула.

— Еслиф живой, дак найдет свое дитя, а еслиф...

Ну, да что об этом! А что касаемо фамилии... Свою фамилию дай девчонке.

— Верно, бабуля! — подхватил Миша. — Мария Петровна — так и утвердим! Спиридонова Мария Петровна. Звучит?

Выпитого ему, конечно же, показалось мало — слону дробина, и он уставился на меня. Заговорщицки попытал глазами: есть ли, мол, у бабушки еще хоть маленько? Я кивком головы ответил: есть, проси. Но Миша не стал просить. Он применил испытанный уже способ — начал перед бабушкой расхваливать меня. Какой у нее внук! Какой штукавый парнишка. Весь трактор насквозь прознал и даже глубже. А как, жижленок эдакий, пашет!

— Иду это, гляжу — над рулем пилотка торчит! Да он же трактористом родился!

Бабушка расплылась в улыбке и вынесла из чулана еще полстаканчика.

С третьего «захода» Миша принялся возносить до небес саму бабушку Настасью. Первейшая на всю округу, а может, и в целой России лучшая повитуха! Вон их сколько, ребятишек-то, в Банаках! А еще в Клейминовке? А в Ремизове? Пойди сосчитай-ка...

— Да вот и мне... — Миша постучал себя в грудь кулаком. — Кто мне когда-то пупок завязал? Ты же, баба Настасья, ты! Разве забыла?

— Ну и жох ты, Михайла! — умиленно сказала бабушка и вновь, со стаканом в руке, удалилась за дощатую загородку.

Собрался Миша уходить от нас, когда в избе стали сгущаться сумерки. Напоследок приятно «потолковал» с крохотулей-Маруськой, с ее мамой, а мне наказал начальственному: к утру, до солнышка, чтобы трактор был запавлен, готов на все «сто». Чтобы все на мази было! А он, Миша, придет в поле и поможет мне запустить двигатель. А за окнами хмельно затянуто:

— Бывали дни весе-еолыя...

Да, бывали, конечно. Выпадали, хотя и не так часто.

линированную, регулярную, управляемую высокоподготовленными людьми — старыми военными специалистами. Взгляды же Ленина и Троцкого совпадали, поэтому Владимир Ильич в союзе со Свердловым сумел «уговорить» Троцкого встать во главе военного дела.

Одним из наиболее сложных был вопрос о привлечении военных специалистов — царских офицеров. Многие коммунисты высказывались против присутствия «бывших» в новой армии. Им решительно противостоял Л. Д. Троцкий.

Еще до начала мобилизаций, то есть до июля 1918 года, военкоматы страны приняли в ряды Красной Армии около 8 тысяч военных специалистов, на Урале более 250 бывших офицеров.

О привлечении «военспецов» на Южном Урале вспоминал герой гражданской войны, Маршал Советского Союза В. К. Блюхер: «Мы приглашали на работу в Красной Армии царских офицеров, заключали с ними договоры на шесть месяцев. По истечении шести месяцев они имели право уйти туда, куда им хотелось. В 1-м Уральском полку командирами рот, батальонов, команд были кадровые офицеры старой армии...»

Недоверие, подозрительность, необоснованные аресты бывших офицеров затрудняли их привлечение на сторону Советской власти. В феврале 1918 года в Оренбурге в

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ

Лев ТРОЦКИЙ

на Урале

Вячеслав
ВОЙНОВ

До начала перестройки одна из самых противоречивых личностей XX века — Л. Д. Троцкий — рассматривалась крайне одиозно. Его деятельность в истории либо искажалась, либо просто замалчивалась.

Не был исключением и период гражданской войны на Урале, куда не раз выезжал со своим знаменитым поездом руководитель Красной Армии, председатель Реввоенсовета Республики Лев Давидович Троцкий.

Его назначение на этот пост произошло вследствие несогласия прежних руководителей Наркомвоена (Н. И. Подвойского, Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко и других) с ленинским взглядом на новую армию как на армию дисцип-

превентивных целях было арестовано около 100 казачьих офицеров, десятая часть которых без предъявления конкретных обвинений расстреляна.

13 июня 1918 года был образован Восточный фронт — для руководства войсками, которые вели боевые действия против мятежного чехословацкого корпуса и эсеровских формирований. Сообщения о том, что в чехословацком корпусе ведется антибольшевистская пропаганда, по разным каналам приходили в Москву. Необходимо было принимать срочные меры. Появился приказ Троцкого. В период сталинщины его обвинили в провоцировании восстания корпуса, но, вероятно, не отдав Троцкий приказ о разоружении чехов, его обвинили бы в поощрении анти-советских настроений.

Приводим приказ полностью:

«Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совдепам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.

Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным по линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгруженным из вагонов и заключен в лагерь военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно посылаются в тыл чехословакам надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступать как с братьями и оказывать им всяческое содействие...

Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту

В статье В. Войнова использованы документы архивов, «Бумаги Троцкого», опубликованные в Лондоне-Париже в 1964/71 годах, воспоминания Л. Д. Троцкого, а также работы последних лет советских и зарубежных исследователей. — *Ред.*

нахождения чехословаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести.

Л. Троцкий.

Штаб Восточного фронта находился сначала в Казани, а после захвата города вместе с золотым запасом РСФСР, который чехи передали Колчаку, переместился в Свияжск.

Именно в этот момент на Восточный фронт прибыл поезд Троцкого. Председатель РВС вспоминал: «Я жил в поезде, о котором много говорили. Он был составлен из вагонов, бронированных мешками с землей, вооружен пушками и пулеметами. За ним следовал другой поезд. В нем находились 300 кавалеристов, аэроплан, вагон-гараж для пяти машин, беспроводочный телеграф, типография, трибунал — словом, маленький военный город». Троцкий пробыл в Свияжске 25 дней. Почти каждый день выступал на митингах перед красноармейцами и командирами, железной рукой укреплял дисциплину, не останавливаясь перед жестокими мерами. Из приказа Троцкого той поры: «Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии».

Его слова не расходились с делом. В ночь на 29 августа Троцкий устроил показательный суд. Обратился к воспоминаниям С. И. Гусева, члена РВС: «Питерский рабочий полк (600 человек), очень слабо обученный и ни разу еще не бывавший в бою... расстреляв сгоряча все патроны, сбежал с позиций, бросился к Волге, захватил пароход и начал требовать, чтобы его везли в Нижний... Продолжались боевые действия. А в это время по приказу Троцкого под огромным обрывом внизу на берегу Волги шли суд и расправа... Созданный тут же полевой трибунал приговорил к расстрелу каждого десятого. В числе расстрелянных были и коммунисты, командир и комиссар полка и другие...»

Путем сочетания агитации и репрессий наркомвоенмор удалось создать перелом на фронте и остановить продвижение белочехов и эсеровских отрядов.

Председатель РВС вспоминал: «Мы строили армию при помощи принудительного привлечения военных специалистов — против белых армий, во главе которых стояли, отнюдь не по принуждению, вчерашние соратники и друзья этих самых специалистов. И все это в обстановке непрерывных восстаний, слабого государственного аппарата, анархии и партизанщины. Казань была для Ленина решающим аргументом. С этого момента он гораздо ближе и конкретнее входит в военные дела. Он решительно поддерживает основной курс на преодоление партизанщины. Но в то же время он стремится смягчить наиболее острые углы столкновений, устранить излишние конфликты или не допустить до них».

В отношении террора и методов устранения разногласий в образовавшемся тогда триумвирате партии — Ленин, Троцкий, Свердлов — не было. Троцкий отмечал: «Красный террор также входит в революцию, как и Октябрьский переворот. Классовые враги могут искать, на кого возложить «ответственность». Кангианцы и каутскианцы могут по этому поводу распускать слюни. Революционер не может отделить ответственность за красный террор от ответственности за пролетарскую революцию в целом. Заслуга Ленина была в том, что он раньше и яснее других понял неизбежность революционной беспощадности, когда дело шло о том, чтобы отучить вчерашних господ от покушений на власть нового класса. Это была совсем не такая простая задача: мягкосердечия, обывательщины и пошлого легкомыслия было хоть отбавляй не только за пределами партии, но и в наших собственных рядах».

О том, как высоко оценивал В. И. Ленин деятельность наркомвоенмора на Восточном фронте, говорит

телеграмма: «22 августа 1918 г. Свияжск. Троцкому. Измена на Саратовском фронте, хотя и открытая вовремя, вызвала все же колебания, сделала крайне необходимой немедленную вашу поездку туда, ибо ваше появление на фронте производит действие на солдат и на всю армию... Ленин, Свердлов».

Наряду с репрессиями Троцкий использует и моральные стимулы для укрепления дисциплины. 27 августа 1918 года он телеграфирует Ленину из Свияжска о желании создать индивидуальный знак отличия типа «Советская республика — доблестному воину» или «Советская республика — воину-революционеру». Ленин согласился с предложениями Троцкого.

30 августа 1918 года Фаина Каплан, бывшая анархистка, совершила покушение на жизнь В. И. Ленина, в этот же день в Петрограде был убит председатель Петроградской чрезвычайной комиссии М. С. Урицкий. Готовилось покушение и на Л. Троцкого. Руководитель боевиков правых эсеров Гр. Семенов вспоминал: «Параллельно с подготовительной работой к покушению на Ленина мы задумали план организации крушения поезда Троцкого. Иным способом убить Троцкого было технически трудно. К тому же мы считали полезным делом убить одновременно и сопровождающих Троцкого членов Реввоссовета Республики... Покушение «не удалось», т. е. поезд Троцкого неожиданно пошел с Нижегородского вокзала...»

Получив телеграмму о ранении Ленина, Троцкий тут же выезжает в Москву. На случай возможных выступлений контрреволюции войска Московского гарнизона находилась в повышенной боеготовности. В этих условиях родился Декрет о красном терроре. В столице наркомвоенмор осведомился и об истории расстрела царской семьи в Екатеринбургe летом 1918 года. Троцкий спросил Я. М. Свердлова о том, кто принимал решение о расстреле царской фамилии. «Мы», — ответил Свердлов. Троцкий ему ничего не сказал, но в душе одобрил этот акт. В дневнике Троцкого записано, что лично он считал необходимым прежде судить Николая II, но раз уже царь расстрелян без суда, то значит это было необходимо, чтобы показать всем — от рядового красноармейца до военспеца и члена ЦК, что возврата назад нет, что все мосты в гражданской войне сожжены и общей ответственностью теперь связаны все.

Размышляя об этом многозначительном ответе Свердлова: «мы», я склонен придавать этой фразе не расширительное, а, наоборот, крайне узкое толкование. В условиях триумвирата, когда Троцкий руководил армией, Свердлов партией, а Ленин осуществлял общее руководство страной, решение без Троцкого — «мы» — значило: В. И. Ленин и Я. М. Свердлов.

Председатель РВС Республики выехал на Восточный фронт и вскоре получил телеграмму из Москвы: «Копия. 7. IX. 1918. Свияжск. Троцкому. Благодарю, выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно и поддерживающих их кулаков-кровопийц будет образцово-беспощадно. Горячий привет. Ленин».

Троцкий отдает суровые приказы, направленные на дальнейшее укрепление дисциплины в Красной Армии, на борьбу с трусами, мародерами, перебежчиками и дезертирами. Его приказ № 903 от 30 сентября 1918 года требовал составления списков, например, членов семей военспецов, перебежчиков и изменников. «Пусть же перебежчики знают, — говорилось в приказе, — что они одновременно предают и собственные семьи: отцов, матерей, братьев, жен и детей».

Жестокость противоборствующих сторон была обоюдной. Белые также брали заложников, расстреливали большевиков, им сочувствовавших из числа пленных, проводили карательные акции против мирного населения. Русский убивал русского, казак рубил казака, офицер расстреливал офицера...

Казалось, что после разгрома войск Комуча (Комитета Учредительного собрания в Самаре) военные действия на Восточном фронте не представляли для Советской власти особой опасности. Однако в конце ноября 1918 года колчаковские войска, упредив 3-ю армию в наступлении, вынудили ее отойти. 13 декабря встревоженный Ленин посылает Троцкому телеграмму следующего содержания: «Крайне тревожны вести из-под Перми. Ей грозит опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно налегайте на Вацетиса и проверяйте, достаточно ли энергично он дает подкрепления Перми и Уралу. Лашевич говорил Зиновьеву, что посылать надо только обстрелянные части. Ленин».

Подкрепления были посланы с опозданием, к тому же использовались некомпетентно. 24 декабря Пермь была оставлена. Падение города не было катастрофой Восточного фронта, но поражение несомненно чувствительное. Командующий Сибирской армией генерал Р. Гайда вспоминал: «Только в одной Перми большевики потеряли 21 000 пленных, 5000 вагонов, 60 орудий, 1000 пулеметов, несколько броневых поездов, среди них поезд Ленина, замерзшую у пристани флотилию...» Белогвардейцы с ходу форсировали Каму, захватив на ее правом берегу обширный плацдарм, и создали угрозу Вятке.

31 декабря В. И. Ленин посылает Л. Троцкому еще одну телеграмму: «Есть ряд партийных сообщений из-под Перми о катастрофическом состоянии армии и о пьянстве. Посылаю их Вам. Просят Вас приехать туда. Я думал послать Сталина, боюсь, что Смилга будет мягок к Лашевичу, который, говорят, тоже пьет и не в состоянии восстановить порядок. Телеграфируйте Ваше мнение. Ленин».

Уже на следующий день, 1 января, пришла в Кремль ответная телеграмма от Троцкого: «По оперативным донесениям 3-й армии я заключил, что там полная растерянность верхов, предложил сменить командование. Решение затянuloсь».

Вполне разделяю Ваши опасения относительно чрезмерной мягкости выехавшего товарища. Согласен на поездку Сталина с полномочиями партии и Реввоенсовета Республики для восстановления порядка, очищения комиссарского состава, строгой кары виновных. Новый командующий будет назначен по соглашению с Серпуховым. Лашевича предлагаю назначить членом Реввоенсовета Северного фронта, где у нас нет ответственного партийного человека, а фронт может получить вскоре большое значение. Предреввоенсовета Троцкий».

Вопрос об использовании в Красной Армии бывших офицеров на Урале принял очень острый характер, так как противником этого выступил Уральский областной комитет РКП(б), который в декабре 1918 года докладывал ЦК партии, что «на Урале практика показала полную непригодность старого офицера для строевой и фронтовой службы в Красной Армии».

Выступление видных уральских большевиков против привлечения старых военспецов усиливали недоверие красноармейских масс к бывшим офицерам.

В условиях подготовки к VIII съезду РКП(б) орган Реввоенсовета Восточного фронта «Военная мысль» по инициативе Троцкого пропагандировал активное привлечение «военспецов» к сотрудничеству с Советской властью и критиковал тех, кто недооценивал роль буржуазной военной науки. В февральском номере за 1919 год в защиту ленинской точки зрения были помещены две статьи Председателя РВС Республики Л. Троцкого.

Известен интересный эпизод, когда напор на Ленина с целью изменить политику партии в отношении старого офицера был столь силен, что Троцкому пришлось защищать мнение Ленина от самого заколебавшегося Ильича.

Вспоминая март 1919 года, Троцкий писал: «Во время наших неудач на Востоке, когда Колчак приближался к Волге, Ленин на заседании Совнаркома, на которое я явился прямо с поезда, написал мне записочку: «А не

прогнать ли нам всех спецов поголовно и не назначить ли Лашевича главнокомандующим?» Лашевич был старый большевик, выслужившийся на «немецкой» войне в унтер-офицеры. Я ответил на том же клочке: «Детские игрушки». Ленин поглядел на меня лукаво, исподлобья, с особенно выразительной гримасой, которая означала, примёрно, «уж очень вы строго со мной обращаетесь». По сути же он любил такие крутые ответы, не оставляющие места сомнениям.

После заседания мы сошлись. Ленин расспрашивал про фронт.

— Вы спрашиваете, не лучше ли прогнать всех бывших офицеров. А знаете ли вы, сколько их теперь у нас в армии?

— Не знаю.

— Примерно?

— Не знаю.

— Не менее тридцати тысяч?

— Ка-а-к?

— Не менее тридцати тысяч. На одного изменника приходится сотня надежных, на одного перебежчика два-три убитых. Кем их всех заменить?»

На VIII съезде РКП(б), играя на классовом чувстве некоторых коммунистов, «левые» сумели их привлечь и образовать оппозицию Ленину и ЦК партии. Позже, в 1928 году Ворошилов признает, что в Сталин сочувствовал «военной оппозиции». Из восьми наиболее активных руководителей оппозиции трое были с Урала: Ф. И. Голошкеин, Г. И. Сафаров, Н. Г. Толмачев. Оппозиция была поддержана и рядом армейских делегатов.

В годы культа личности Сталина существовала точка зрения, что многие примкнули к оппозиции в знак противодействия Троцкому. При этом ссылались на то, что при выборах в ЦК Троцкий получил больше всех голосов против — 50. Однако перед нами целое течение в рядах большевиков, нигилистически относившихся к буржуазной интеллигенции. Впоследствии оно отразилось в многочисленных процессах над специалистами («Шахтинское» дело, дело «Промпартии» и др.), и репрессии против бывших офицеров в 37—38 годах довершили давно задуманное.

На съезде с защитой тезисов доклада Л. Троцкого выступил В. И. Ленин. Он заявил представителям «военной оппозиции»: «Когда вы предлагаете тезисы, которые целиком направлены против военспецов, вы нарушаете всю общепартийную тактику». Большинство делегатов съезда поддержало Ленина.

Любопытно отношение Троцкого к сотрудничеству с другими партиями. Приведем пример с уфимскими эсерами, которые сразу после вступления 31 декабря 1918 года в Уфу советских войск обратились с предложениями начать переговоры о совместных действиях против Колчака. Какова же была реакция на это Л. Троцкого? Она видна из его телеграммы в Москву:

«Москва. Предсовнарком Ленину. Копия Преддик Свердлову».

Телеграмма из Самары сообщает, будто часть уфимских эсеров высказалась за коалицию с нами для борьбы против Колчака. Коммунисты отказались. Если верно, необходимо изменение решения. Соглашение принять, так как от него выиграет сильнейший. Предреввоенсовет Троцкий».

Ленин и Свердлов дали указание вступить в переговоры на основе признания эсерами Советской власти. ВЦИК отменил по отношению к лояльным правым эсерам постановление от 14 июня 1918 года об исключении их из Советов и предоставил «право участия в советской работе».

Не может не вызвать интерес и протокол заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 18 апреля 1919 года, где присутствовали: Ленин, Крестинский, Сталин, Троцкий. Хотя журнал «Известия ЦК КПСС» и дает довольно подробную летопись заседаний Политбюро, указанное заседание в № 12 за 1989 год дается в купюрами. Рассмотрим два

вопроса, опущенных журналом и обсуждавшихся на Политбюро:

«Слушали:

...2. Заявление т. Троцкого о том, что южная группа востфронта, состоящая из 4-х армий, находится под командованием недостаточно опытного для руководства такими большими задачами т. Фрунзе и что необходимо усилить фронт.

Постановили: Предложить Главкому Вацетису отправить на востфронт с тем, чтобы нынешний Комфронт тов. Каменев мог отдаться целиком руководству армиями Южной группы.

3. Заявление т. Троцкого о том, что огромный процент работников прифронтовых ЧК, прифронтовых и тыловых Исполкомов и центральных советских учреждений составляют латыши и евреи, что процент их на самом фронте сравнительно невелик и что по этому поводу среди красноармейцев ведется и находит некоторый отклик сильная шовинистская агитация и что, по мнению т. Троцкого, необходимо более равномерное распределение работников всех национальностей между фронтом и тылом.

Постановили: Предложить т. Троцкому и Смильге составить соответствующий доклад, и сообщить этот доклад, как директиву ЦК, комиссиям, распределяющим силы между центральными и местными организациями и фронтом».

Контрнаступление Южной группы, а затем 2-й и 3-й армий Восточного фронта привело к тому, что главная группировка колчакских войск в центре фронта была разбита, а Сибирская армия начала отступление. Главком И. И. Вацетис при поддержке Троцкого в начале июня 1919 года выступил с предложением приостановить наступление наших войск на линии реки Белой, закрепиться на этом рубеже, «так как ясно, что до Владивостока мы дойти сейчас не сможем», и перебросить часть войск на Южный фронт против Деникина. Однако В. И. Ленин поддержал Реввоенсовет Восточного фронта в вопросе о продолжении наступления против колчаковцев.

3—4 июля 1919 года состоялся Пленум ЦК партии, на котором сняли с поста главкома Вацетиса и назначили вместо него Каменева. Командующим войсками Восточного фронта вместо Каменева решено было назначить М. В. Фрунзе. Тогда Троцкий предложил свою отставку с поста Наркомвоенно. Его отставка не только не была принята, но ему было продемонстрировано высочайшее доверие. Из постановления: «Орг. и Политбюро Цека сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для тов. Троцкого и наиболее плодотворной для Республики ту работу на Южном фронте, самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время, которую избрал сам тов. Троцкий».

Лев Давидович позже вспоминал о последовавшей встрече с Лениным: «Ленин выдал мне, по собственной своей инициативе, бланк, написавши внизу страницы следующие строки:

«Товарищи! Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело. В. Ульянов (Ленин)».

Назначение этого бланка я уже разъяснял на Президиуме ЦКК: «Когда он (Ленин) мне это вручил, и внизу чистой страницы были написаны эти вот строки, я недоумевал. Он мне сказал: «До меня дошли сведения, что против вас пускают слухи, что вы расстреливаете коммунистов. Я вам даю такой бланк, и могу дать вам их сколько угодно, что я ваши решения одобряю, и наверху страницы вы можете написать любое решение и на нем будет готовая моя подпись». Это было в июле 1919 г.»

Троцкий утверждал, что никогда не воспользовался

этим картбланшем. Историк В. И. Старцев подтвердил этот факт тем, что видел в архиве подлинник «открытого листа».

Любопытный штрих к введению политики нэпа находит в воспоминаниях Троцкого: «Моя жизнь. Опыт автобиографии» «...В феврале 1920 г. под влиянием своих наблюдений над жизнью крестьянства на Урале, я настойчиво добивался перехода к новой экономической политике. В Центральном Комитете я собрал всего лишь четыре голоса против одиннадцати. Ленин был в то время против отмены продовольственной разверстки, и притом непримиримо. Сталин, разумеется, голосовал против меня. Переход к новой экономической политике был лишь через год, правда, единогласно, но зато под грохот кронштадтского восстания и в атмосфере угрожающих настроений всей армии».

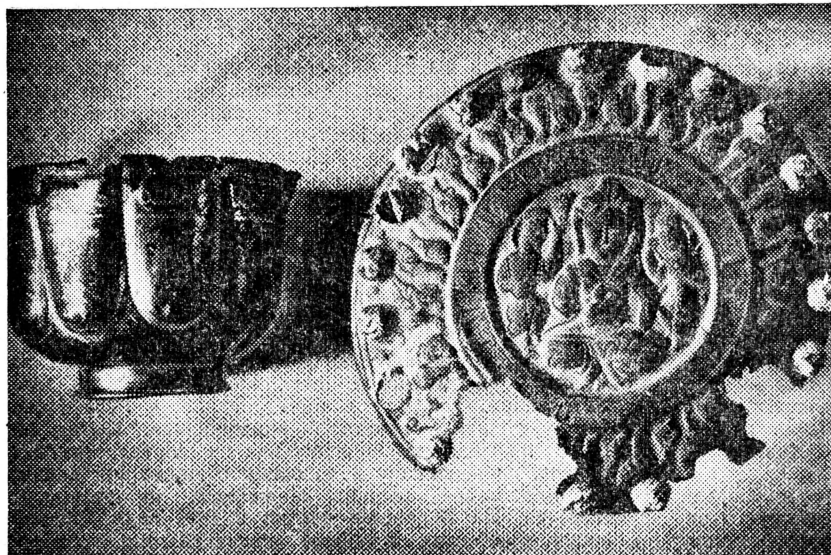
Когда идеи Троцкого не получили одобрения, он со свойственной ему энергией начал искать выход из того экономического тупика, в котором оказалась Республика благодаря политике «военного коммунизма». Выход он видел в закреплении политических и государственных институтов, сложившихся в условиях гражданской войны, командно-приказной системе, в методах авторитарного руководства. На IX съезде партии в 1920 году Троцкий выдвинул программу всеобщей милитаризации государственного и партийного аппарата, планово-принудительной организации всего народного хозяйства, которая была одобрена делегатами.

Учитывая настроения рядовых коммунистов в условиях всеобщей разрухи, Троцкий принял предложение о переводе частей Красной Армии на положение трудовых армий. В порядке эксперимента прославленная 3-я армия была зимой 1920 года преобразована в 1-ю Революционную армию труда. Кроме того, Троцкий начал реально воплощать в жизнь политику «огосударствления» профсоюзов.

17 февраля он телеграфировал из Екатеринбурга в Москву: «Считаю необходимым объявление Уральских угольных копей на военном положении. В Челябинских копиях из трех с половиной тысяч выходят на работу менее двух тысяч. Интенсивность труда ничтожна. На других копиях приблизительно то же. В этом вопросе придется преодолеть сопротивление местных да и центральных тред-юнионистов. Когда вопрос будет подготовлен агитационно и организационно, обращусь к Совету обороны за формальной санкцией. Троцкий».

Приведем еще одну телеграмму, направленную 27 февраля 1920 года из Екатеринбурга в Москву Э. М. Склянскому для передачи В. И. Ленину: «По предложению комиссии по превращению Верх-Исетского завода в образцовый машиностроительный завод с согласия и одобрения Уренкомиссии Ревсовтрударм возбуждаю ходатайство перед Советом Обороны о милитаризации Верх-Исетского машиностроительного завода в полном составе рабочих и служащих. Управление Верхне-Исетского завода должно состоять из военного комиссара в качестве административного руководителя и главного инженера в качестве технического руководителя. Предсовтрудармии I Троцкий».

В тот период экономика Республики в значительной мере опиралась на промышленные ресурсы Урала, производившего 20 процентов выплавленной в стране стали, почти 100 — рельсов и 62 процента другого проката; чему в не малой степени способствовала деятельность Л. Троцкого по установлению обстановки делового сотрудничества Советской власти с большей частью технической интеллигенции. Выступая на II Челябинской губернской партийной конференции в марте 1920 года, Председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий отмечал: «...Должен быть использован опыт Красной Армии по приглашению специалистов. Нужно усвоить мысль, что без научно-технических сил восстановить промышленность мы не можем».



находка на реке Азлас

Геннадий БОРДИНСКИХ,
ст. научный сотрудник музея

Это было много веков назад. Медленно тянулись на север караваны арабских купцов, поднимались вверх по Волге торговые суда. Товары стекались в город Булгар, а оттуда, как гласят арабские хроники, «купцы булгарские везли их к городу Чульману». Они продавали оружие, богато украшенные серебряные, бронзовые чаши, блюда, котлы.

До сегодняшнего дня отыскиваются свидетельства той торговли. Одно удалось обнаружить археологической экспедиции Соликамского музея. Мы обследовали среднее течение реки Боровой (приток Камы). У деревни Верх-Боровое разбили временный лагерь. Двое работали на берегу реки, а один — в деревне, с местным населением.

В доме бывшего лесничего Ф. А. Герасимчука он увидел бронзовую крышку, закрывающую котел. Как выяснилось, Федор Алексеевич нашел ее в 1960 году на берегу реки Азлас, во время вспашки земли под сосновые посадки. (Азлас — приток Боровой и протекает в двух километрах к западу от деревни.) С тех пор и валялась находка в чулане без всякой надобности.

Диаметр крышки 22 см. В центре изображена трехфигурная композиция: правитель с круглой чашей в одной руке и мечом в другой; по обеим сторонам от него стоят слуги с поднятыми сосудами в одной руке, в другой один держит утку, второй — опахало. По кругу меньшего диаметра нанесена почерком «наскх» инкрустированная серебром надпись на арабском языке, обычная для своей эпо-

хи: «Долгая слава, счастье, могущество, преуспеяние, спокойствие, щедрость... милосердие... владельцу сего». По кругу большего диаметра изображены крылатые львы. По краям крышки нанесен растительный орнамент. Изготовлена она в Хорасане (провинция Ирана) в XII — начале XIII вв.

По мнению заведующего отделом Востока Эрмитажа А. А. Иванова, это очень редкая по форме вещь. Таких крышек нет ни в коллекциях музеев СССР, ни за рубежом.

В Соликамском музее, кстати сказать, хранятся еще три предмета, найденные на реке Азлас: два серебряных слитка, по форме напоминающие новгородские гривны, и серебряная чаша. Последняя тоже изготовлена в Хорасане и имеет надпись, аналогичную вышеприведенной. На ней мы тоже видим растительный орнамент и птиц-грифонов. А вокруг донца изображены бегущие животные.

Скорее всего, это были атрибуты шамана. Восточные предметы в ту эпоху в Верхнем Прикамье использовались как ритуальные. Сидящий правитель с чашей и мечом в иранской мифологии — символ духовной и светской власти. Верховное божество древних коми-пермяков — Войпель, по описанию митрополита Симона (1501 г.), имел такие же атрибуты власти.

г. Соликамск

На снимке: крышка и чаша, найденные на реке Азлас. Фото В. Савинова

ТИПОГРАФИЯ ЛУКИ ГРЕБНЕВА

Владимир СЕМИБРАТОВ, журналист

Жизнь талантливого художника, книгоиздателя, библиофила Луки Арефьевича Гребнева (1864—1931) во многом еще покрыта мраком неизвестности, несмотря на ряд публикаций о нем в столице и на периферии. Книги, изданные в его крестьянской «Типографии христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия в селе Тушке, Вятской страны, в пределах града Малмыжа», не перестают восхищать оригинальностью и изяществом. Многогранность личности печатника удивляет исследователей.

Он родился в д. Дергачи Уржумского уезда Вятской губернии в семье крестьян-старообрядцев поморского толка Федосеевского согласия, отличавшегося неприятием брачного обряда. Книги «божественного писания» с юных лет и до самой смерти сопровождали старообрядцев. Не считалось большим грехом обходиться с ними небрежно:

слонявить палец при перелистывании, держать при чтении на весу... Надо ли говорить, что, получая обязательное домашнее образование, все старообрядцы (включая и женщин) были поголовно грамотными. Доля же их в населении Вятской губернии, например, в конце минувшего века составляла почти три процента.

Из Дергачей Лука Гребнев юношей попадает в Москву в типографию Г. К. Горбунова. Владелец ее — крупный фабрикант, а впоследствии еще и главный попечитель и председатель комитета Преображенского прихода старопоморского благочестия — отнесся к новому работнику благосклонно. Гребнев прошел путь от ученика до главного мастера типографии и, казалось бы, достиг предела желаний: должность высокооплачиваемая, библиотеку большую собрал из редких книг и рукописей, семьей обзавелся, взяв жену из родных мест. Но вот Гребнев бросает все и возвращается с семьей на родину. В 1900 году он открывает в Дергачах тайную типографию, обозначенную им «Почаевской». Здесь книгопечатник шлифует свое мастерство типографа, первым из земляков пробует силы в фотографии, вместе с братом ставит новый большой дом, сохранившийся до настоящего времени. Рабочая комната хозяина удивляла посетителей красочными росписями на стенах и на потолке. За книгами в Дергачи приезжали старообрядцы со всей округи.

В 1906 году «Почаевскую» типографию покупает Преображенская община, а Гребнев организует в Старой Тушке более солидную типографию. В приобретении печатных станков и изготовлении шрифта помогли казанские старообрядцы братья Василий и Евтихий Титовичи Семеновых, ставшие компаньонами Гребнева. «Христианская типография церковнославянских, богослужебных и поучительных книг» была открыта в 1908 году и помещалась в двухэтажном деревянном доме. Гребнев с женой жили наверху, где стояли и печатные станки. Нижний этаж был отведен под литейную мастерскую. В кирпичном складе рядом с домом хранились старинные книги и рукописи, большая часть которых была приобретена в Москве. Первым гребневским изданием, напечатанным в Старой Тушке, стала азбука, предназначенная для обучения детей церковнославянскому чтению и письму. Неоднократно выходили в типографию листы «Целебника», открытки с изображением «райских» птиц Алконоста и Сирина и карточки поздравительных писем к религиозным праздникам. Тысячными тиражами печатались различные каноны, псалтыри, панихидники, часовники. Вышли книги: «Чаду желанных духовных», «Скитское покаяние», «Поморские ответы», «О посте отшельника», «Аптека духовная», «Беседы о таинстве брака», «О степени отеческой».

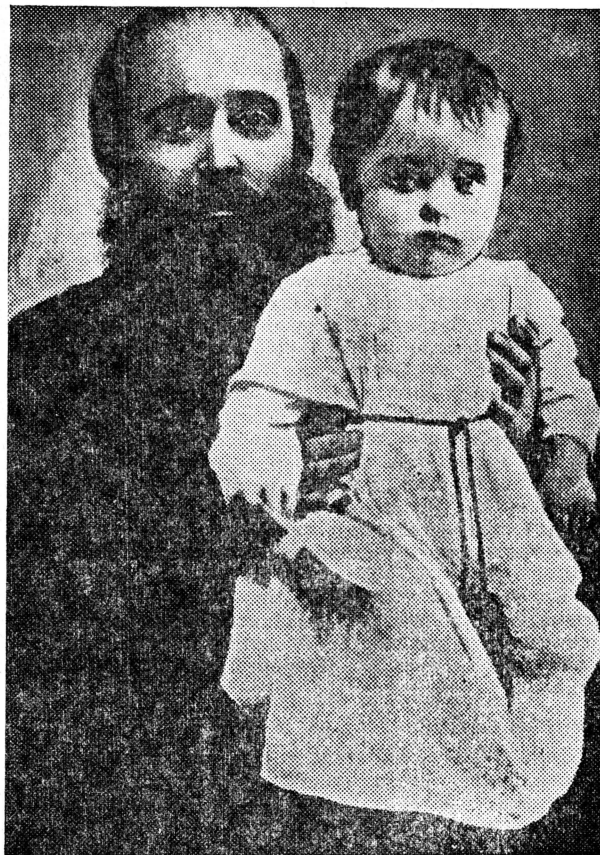
Книги одевались в красивые кожаные, опойковые и коленкоровые переплеты, стоили довольно дешево, а самые ценные из них печатались на старинной бумаге с водяными знаками XVIII века. Их украшали красочные заставки и рисунки, а также изящные заставки, изготовленные в местной литейной мастерской.

Красивое оформление, четкий шрифт, доступная цена делали тушкинские издания популярными не только в Вятском крае, но и далеко за его пределами. Их можно было купить в магазинах Москвы, Петербурга, Казани.

Типография Л. А. Гребнева просуществовала до октября 1918 года, когда станки и почти весь шрифт были конфискованы. Книги, напечатанные в Тушке, развезли по окрестным селениям, где ими стали... оклеивать стены и отоплывать избы. Бывало, что и ученики в школах пользовались гребневскими брошюрами вместо тетрадей.

После закрытия типографии Лука Гребнев с сыном Фомой и несколькими помощниками занялись иконописанием и литьем медных икон. Из его мастерской выходили также колокольчики, втулки для тарантасных колес, шестерни ручных дрелей. Но главной страстью бывшего издателя по-прежнему оставались книги.

В его кирпичном складе в то время хранилось около двухсот книг XVI—XVII веков, в числе которых были



«Острожская Библия» печати Ивана Федорова 1581 года, «Псалтырь» издания Мамониной (Вильно, 1593 г.), «Катехизис» 1595 года, «Евангелие толковое» Василия Бурцева (1640 г.)...

В 1919 году в д. Новая Тушка, что в двух верстах от Старой Тушки, прибыл молодой учитель А. И. Янкин (1893—1938). Он создал здесь школьный музей, переросший затем в музей местного края. Для старообрядческого отдела музея Гребнев добровольно передал часть напечатанных им книг, клише заставок, оставшийся шрифт. В рукописном журнале «Музейные проблески» книгопечатник был назван большим другом музея и заведующим старообрядческим отделом в нем.

В 1924 году часть книг из своего собрания Гребнев отправил на московскую выставку «История древнерусской книги», за что получил благодарность от тамошних библиофилов. В 1926 году он передал в музей Янкина все самое ценное, что у него было. Кроме большого количества книг и рукописей, от «тушкинского старца» поступило несколько пачек неразобранных деловых бумаг и старинных писем.

Вскоре А. И. Янкин переехал в центр тогдашнего района село Шурму, перевезя туда и свой музей. Там после его смерти музейные экспонаты и десяти тысячная библиотека были расхищены. Лишь небольшая часть попала в музей Малмыжа и Кирова.

Гребнева в это время давно уже не было в живых. Арестованный в 1929 году как кулак, он через два года умер в ссылке. Та же судьба постигла и его сына.

г. Киров

На снимке: Лука Гребнев с сыном Фомой.

ОНИ ДОПОЛНЯЮТ КНИГИ, ИСПРАВЛЯЮТ КАРТЫ...

С. ВЕРНИКОВ,
подполковник в отставке

Строки эти — из стихотворения сержанта железнодорожных войск В. Маслихина, одного из строителей дороги Ивдель — Обь, что идет по северу Свердловской и Тюменской областей.

Василий Маслихин прав. Если взять географическую карту 1965 года, то на ней стальной путь от Серова на Ивдель заканчивается тупиком у Полуночного. А на современной карте черная ниточка дороги поворачивает от Ивделя на северо-восток и завершается на станции Приобье, рядом с Алешкинской протокой великой сибирской реки. Это и есть 400-километровая дорога Ивдель — Обь. Построена она (теперь уже можно об этом сказать) подразделениями железнодорожных войск (с участием гражданских мехколонн) в период с 1959 по 1969 годы.

Все эти годы я служил в многотиражке строительства, носившей символическое название «Боевое задание». Сохранились номера газеты, блокноты с записями, сделанными в командировках. Попробую выбрать наиболее памятное...

НОЧНОЙ ВАЛЬС

Зима 1962-го. Головной отряд, уже третий за время стройки, идет сквозь тайгу... Морозы. Глубокие снега. Огнем жжет металл. Вышел утром умываться один из солдат и тронул мокрой рукой невзначай тракторный башмак. В вагончик бедняга ввалился, придерживая железяку рукавом телогрейки: пальцы мокрой руки спаялись с металлом. Отогрели, «отпаяли», перевязали руку.

Головной отряд: тракторы, бульдозеры, кусторез, корчеватель, автомашины, два вагончика на громадных деревянных полозьях... Машины осторожно подходили к реке. Надо преодолеть притаившееся под снегом и мхом таежное болото. Из-под гусениц брызнула вода, морозным паром заволокло все вокруг. В этом тумане метр за метром продвигались машины вперед. Корчеватель рядового Эльманта Лобья уже дошел до берега таежной реки Нюрих, опробовал лед. Тот треснул, выступила вода. Сходу переправляться нельзя. Эльмант развернул машину, начал возвращаться. Неподдалеку подошел к берегу расчищал бульдозерист Иван Брух. Лобья уже отъехал несколько десятков метров, когда услышал сильный треск: бульдозер Бруха медленно погружался в прибрежную трясины. Позднее оказалось, что, кроме болота, здесь еще был широкий ручей, впадающий в реку. А бульдозер Бруха уже по кабину в воде. Сам он, насквозь мокрый, подбежал к тросу, брошенному Эльмантом, закрепил его. Лобья, насколько хватило сил у корчевателя, «поддерживал» бульдозер. Вытащить не мог. Попробовал было, но корчеватель тоже начал оседать. На выручку пришел весь отряд. Затрещали мотопилы. Были уложены слани — большой плот, въехав на который, корчеватель получил точку опоры и вызволил тонущую машину. По льду Нюриха соорудили временный сланевой мост, и снова двинулся в путь головной отряд.

...Привал. Лесная стоянка на ночь. Иван Брух перебирает лады гармонии. Мелодия проникает сквозь тонкие стены вагончика и разносится по заснеженному спящему лесу, над которым повисла огромная желтая луна. Звуки вальса Штрауса переплетаются с тархтением мотора. В сорокаградусный мороз заглушать его нельзя. С утра

снова уйдет в путь комсомольский головной отряд. 12 человек — девять национальностей: русские и армяне, украинец, азербайджанец, эстонец, литовец, татарин, немец, еврей...

...В считанные мгновения минует теперь пассажирский поезд Свердловск — Приобье двухсотый километр, где когда-то проходил головной отряд.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, ИЛИ ЧЕТВЕРТАЯ ЖИЗНЬ ДОРОГИ

Дорога оказалась и впрямь необычной. Прежде всего экономически. Она еще не была пущена в строй, а уже полностью окупилась затраты на строительство — так нуждались в дороге газовики и лесозаготовители.

Итак, четыре жизни дороги. Первая — ее строительство. У меня есть авторитетная справка: в ходе его расчищено более 2,5 тысячи гектаров леса, проложено 350 км лежнево-сланевых дорог, выполнено 11 миллионов кубометров земляных работ.

Дорога строилась как лесовозная, третьей категории. И второй жизнью стало создание вдоль нее длинной цепочки леспромпхозов. Ныне вдоль трассы Ивдель — Обь в Свердловской и Тюменской областях действуют более 20 леспромпхозов объединений «Советсклес» и «Сергинолес». Сколько десятков миллионов кубометров леса перевезено по северной дороге, подсчитать затруднительно.

В 1962 году трасса обрела третью жизнь, когда строители тюменских газопроводов оперлись на еще строящуюся дорогу, доставляя по стальным путям тысячи тонн грузов для прокладки газопроводов.

А с 80-х годов обретает наша дорога четвертое дыхание, став надежной опорой для создания нефтеносного края в районе Нягани.

Нягань. В моем архиве есть фотография, на обороте которой карандашом написано: «23 марта 1964 года». Обычный сельский пейзаж. На заднем плане стена леса. Поближе несколько бревенчатых домов. Той весной наша солдатская газета стройки работала на трассе. Мостовики сказались мне, что неподалеку есть поселок. Это было каким-то чудом. Почти что триста километров прошли к этому времени строители, а ни одного населенного пункта у трассы не встретили...

...25 лет спустя. Утро. Пассажирский поезд делает короткую остановку на станции Нягань. Не узнать теперь тихую станцию, где в 1967-м была звеносборочная база, на запасном пути стоял вагон начальника стройки полковника В. А. Казимирчука. Теперь здесь город нефтяников Нягань, число жителей которого уже перевалило за 50 тысяч. Базируются два объединения: «Красноленинскнефтегаз» и «Красноленинскгеофизика», нефтегазоразведочная экспедиция, восемь строительных трестов...

В сентябре 1989 года, в ознаменование 30-летия начала стройки и 20-летия ее завершения, встретились ветераны строительства. Они приехали из Харькова и Свердловска, Куйбышева и Москвы. И отправились в поездку по всей трассе. Побывали и на станции Верхне-Кондинская (поселок Советский). Здесь во время предыдущей встречи 1984 года на стене вокзала в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска в память трудового подвига воинов-железнодорожников.

г. Серов

КУЛЬТ ЖУРАВЛЯ У БАШКИР

Этнографический очерк

Еще в 922-м году арабскому путешественнику Ибн-Фадлану во время его путешествия на Волгу и при посещении «страны турок Аль-Башджард» рассказали легенду о возникновении у башкир культа журавля.

«...Мы видели, как (одна) группа поклоняется змеям, (другая) группа поклоняется рыбе, (третья) группа поклоняется журавлям, и мне сообщили, что некогда вели они войну с одним народом из числа своих врагов, что они (враги) обратили их (башкир) в бегство и что журавли закричали сзади них (врагов) так, что они испугались и сами были обращены в бегство, после того как обратили в бегство (башкир), и поэтому они (башкиры) поклоняются журавлям и говорят: «Эти (журавли) — наш господин, так как они обратили в бегство наших врагов», и поэтому они поклоняются им (и теперь)...»

Культе журавля-спасителя имел в среде древних башкир столь сильное почитание, что воплотился в новых названиях двух крупнейших западных племен. Так, предки венгров — оногуры — стали называться мадьярами, а предки юрматинцев — потомки племени «кюрт» (от тюрского «корт» — волк) — приняли название дьярмат. Оба эти этнонима — мадьяр и дьярмат — однокоренные и произошли, скорее всего, от венгерского (древнебашкирского) слова «дьер» — журавль. Этот корень почти в неизменном виде сохранился как во многих башкирских фамилиях, так и в названиях сел и городов Венгрии.

Древняя легенда, рассказанная Ибн-Фадлану, перекликается со многими башкирскими народными преданиями и рассказами об этой большой птице. Например, с преданием «Журавлиная песня», записанном в деревне Басай на юго-востоке Башкирии. Некогда юноша-воин случайно услышал на лугу курлыканные танцующих журавлей и переложил эту мелодию на курай (флейту). По возвращении домой юноша стал наигрывать журавлиную песню, ее услышали старики-аксакалы и забеспокоились: «Как бы не было беды — там, где эти птицы поют и танцуют, битва должна разыграться...» Их предсказание помогло: приготовившиеся к сражению башкиры разбили неожиданно нагрянувшего врага.

Помимо баймакской версии «Журавлиной песни» существует также ее западный вариант — демский. Племена медьяр и курт — дьярмат в древности жили по рекам Дема, Ашкадар и Самара.

Говорят также, что в среде башкирских кураистов существовало поверье, по которому слишком часто играть «Журавлиную песню» нельзя: где пели журавли, там жди войны или засухи.

С именем журавля связано и появление в юго-восточной Башкирии родовых подразделений «торна» (башк. — журавль). Жители деревни Альмухамедово, что находится в 50 км от Магнитогорска, называющие себя «журавлями», связывают появление этого имени с культом журавля-спасителя, предупредившего их предков о нашествии врага.

Какие же именно события и когда круто переменяли отношение ранних венгров к журавлю? О нашествии полчищ какого народа идет речь в этих преданиях? Когда произошла смена самоназваний двух древнебашкирских племен?

Известно, что пребывание венгро-башкирских племен на Южном Урале относится к эпохе раннего средневековья, то есть к V—VII векам нашей эры. Именно тогда появляются первые письменные упоминания об оногурах,

князях и бурджанах, то есть о предках венгров, катаев и бурзянцев. Следовательно, ни движение на запад болгар, аваров и хазар, ни походы войск Тюркского каганата в Причерноморье на Херсонес и Боспор не отразились на самоназвании ранних венгров. А пришедшие в конце VIII века в приарало-прикаспийские степи огузы (предки туркмен), как видно из сообщений о «войнах Огус-хана со славянами, мадьярами и башкирами», воевали уже с «журавлями».

Значит, неизвестный враг мог на южных рубежах Оногории появиться лишь в начале VIII века, и имя его запечатлено в древнем сказании «Конгур Буга» (Бурый Бык) — то были «хуннские тюрки», пришедшие из-за Иртыша и, как видно из сказания, напавшие на «южных башкир». «Хуннскими тюрками» неизвестный автор сказания называл старых соседей венгров — потомков некогда сильных гуннов, создавших в восточном Казахстане в V веке мощный Хуннский союз. С распадом Тюркского каганата на враждебные друг другу Западный и Восточный угроза вторжения с юго-востока для Оногории исчезла. Однако в начале VIII века Восточный каганат на короткий период восстановил свое прежнее могущество, и его полководцы Каган-каган и Кюль-Тегин привели свои войска в Среднюю Азию. Примерно в это же время тюрки появились и у отрогов Южного Урала, но предки венгро-башкир встретили врага во всеоружии, предупредившие журавлем-спасителем. Не случайно древние предания о птице, предупредившей свой народ о нашествии сильного врага, записаны от юго-восточных и демских башкир.

В начале IX века исторические пути древнебашкирских племен Южного Урала разошлись: нехватка пастбищ и перенаселение вынудили предков семи западных племен заключить союз и двинуться, перейдя Волгу, по южнорусским степям в Причерноморье.

В этом долгом и опасном переходе, затянувшимся на целые десятилетия, венгры не утратили своей национальной самобытности и богатого фольклора, родственного башкирскому.

В конце IX века мадьяры появляются на Дунае и завоевывают Паннонию. Несмотря на длительный отрыв от прародины, смещения племен венгерской волны не произошло: современная карта Венгрии — яркое тому свидетельство. Так, предки юрматинцев расселились на севере, юго-востоке и востоке страны — в областях, где соответственно находятся селения Балашадьярмат, Фюзешдьярмат и Фехердьярмат. Мадьяры основались на западе — в округе города Мошонмадьяровар, а тамьяны, потомки племена тарья, — в районе селения Шальготарьян.

С возникновением второго самоназвания венгров — мадьяры — следует связывать появление названия гор, являющихся естественным продолжением Уральского хребта, Мугоджары...

Культе журавля, воплотившийся в названии венгро-башкирских племен, — не только символ родства двух народов-братьев, он — сама история и древность Урала.

Если случайно встретите в лесу или на болоте эту большую и благородную птицу, не тревожьте ее. Некогда она спасла наш народ, а сегодня мы должны оберегать ее покой и жизнь — для наших потомков, пусть и их радуется журавлиное пение и парящий в поднебесье клин...



Леонид ФОМИН

Рисунки Николая Мооса

ШУРКИНА ВОЙНА

фрагменты романа «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»

I

Почтальонша еле плелась к дому Пушкаревых. Сама Пушкариха, должно быть, мыла полы, с поткнутым за пояс подолом вышла выплеснуть помой, да так и замерла на крыльце, широко расставив босые тонкие ноги.

Пушкариха, наверно, больше боялась, чем ждала этой встречи, от дяди Алексея уже давно не было писем, и все говорили, что он куда-то пропал без вести; она следила за каждым ее шагом, и когда та, откинув со столбика веревочную петлю, открыла дверцы ограды, с грохотом уронила бадью, попятилась. Пушкариха пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в заборку, потом протестующе замотала головой, загородила искаженное лицо руками и закричала:

— Не надо! Уходи!

Но почтальонша все же поднялась на мокрое крыльцо, положила желтую бумажку на крышку бочонка, чтобы не сдуло ее, прижала ковшиком и, сникшая, узкоплечая, с большой черной сумкой на боку, повернула к Шуркиному дому.

Она и сюда брела, как слепая, долго шарила на воротах прорезь почтового ящика, наконец сунула в

нее тоже желтую, вдвое сложенную бумажку. Шурка удивился, что почтальонша такая знакомая и добрая, даже не взглянула на него сегодня, не сказала, как обычно, «Здравствуй, Шурик!» и молча пошла дальше, не поднимая головы, глухо шаркая растоптанными ботинками.

Он удивился только в первую минуту. Удивление сменила смутная тревога, а потом вдруг сразу сделалось страшно. Растерянный, он стоял среди улицы и помаленьку догадывался, что случилось нечто большее, чем до сих пор случалось, и еще не совсем понимая, что это за беда, бросился к своей ограде, вытряхнул из почтового ящика испятнанную черными штемпелями бумажку, развернул.

Он плохо видел, что там было написано, бумажка была мокрая, липкая, фиолетовые чернильные буквы расплылись. Однако сразу прочитал одно слово — «погиб». Скомкал бумажку, помчался за почтальоншей.

— Тетя Дуня! — пронзительно закричал Шурка. — Стойте!

Почтальонша остановилась. С захолонувшим сердцем подбежал к ней, плохо соображая, что делает,

откинул широкий клапан сумки, вытянулся на носках и с силой засунул в нее извещение.

— Нам не надо!

— Мила-ай! — простонала тетя Дуня. — Сынок ты мой. Да я-то разве виноватая?.. — Она прижала Шурку к себе, принялась оглаживать дрожащими руками плечи, спину, затылок и роняла на его голову крупные и теплые, как грозные дожди, слезы.

В тот день Шурка словно бы впервые по-настоящему осознал страшное значение слова «похоронная». Оно обрушилось на него какой-то тоской и опустошенностью. До вечера он потерянно бродил по селу, избегал встреч с ребятами, со всеми, кто попадался и мучительно думал, обманывал себя: может быть, это не про отца? Может быть, ошиблась тетя Дуня, не по адресу принесла извещение? И вообще, больно много что-то носит она этих похоронок. Здесь так и говорят — не похоронная, а похоронка. Вот сегодня — две сразу. А что похоронки, Шурка не сомневался. Иначе бы ревели. Иначе бы почтальонша утром поздоровалась с ним.

Совсем недавно в армию провожали парней с песнями, с плясками, с залиистой игрой гармошек. Тех, кого провожали, называли призывниками и обязательно устраивали гулянки. Это было похоже на праздник. Нарядные девушки и парни плясали прямо на улицах, во дворах, на плотине патрушихинского пруда, а в доме призывника до поздней ночи не смолкали песни. Так провожали Володю Быкова, Ганю Басаргина, Гришу Мышковских. Шурка, бывало, с нетерпением ожидал такие проводы, потому что все равно попадал на вечеринку, а там уж попробуешься всего — и конфет, и варенья, и пирогов всяких...

Весело это было — провожать в армию.

Но так было до того времени, пока неожиданно все — и женщины, и мужчины — не заговорили о войне. Говорили тревожно, говорили утром и днем, вечером и ночью. Говорили дома, на улицах, на работе. И по радио — о том же.

И сразу стали уходить на войну краснопольские мужики. Да по многу сразу. Уходили быстро, порой едва успев проститься с родственниками. Хуторских, так тех увезли на полutorке прямо из мастерской. Приехал из города военный командир и привез сразу целую пачку повесток. Раздал их рабочим и приказал немедленно собираться. Кое-кто из мужиков все же успел сбегать домой. Всполошенные внезапно жены и матери бежали за грузовиком с узелками в руках. Машина не надолго остановилась на центральном участке совхоза, и Шурка видел, как ревущие, растерянные женщины висли на шею своим мужьям. Тут же крутились ребяткишки. Матери искали своих, тащили к машине. Из толпы то и дело слышалось:

— Обними, поцелуй отца-то! Может, не видаться больше...

Всплакнула и мать, когда уходил отец. Мать сказала тогда отцу:

— Поосторожней там. Береги себя...

А на войну все забирали и забирали краснопольских мужиков. И молодых, и старых. Недавно сняли с брони последнего тракториста Гришу Соломеина — и тоже на войну. Тетя Юля, жена Гриши, провожала

его до сборного пункта, но быстро вернулась и, заплаканная, зашла в Шуркин дом.

— Сводили всех в баню, остригли наголо — и сразу в вагон, — рассказывала она матери. — Он ведь танкист, рота у них какая-то особенная, вот и скрутили быстрехонько. Даже проститься толком не дали. Не глядели бы мои глаза на этот вагон...

— Не одного твоего так, — успокаивающе сказала мать. — Всех, как ветром подхватило. Раз быстро, так быстро и вернуться. Вон в финскую: не успели уехать, а к весне уж в окошки стучат...

— Ой-ли, скоро! — покачала головой тетя Юля. — Да пусть бы долго, только бы вернулся. Ведь не пожили мы еще ладом-то... — И тетя Юля снова заплакала.

Теперь в совхозе не осталось ни одного настоящего тракториста, ну не в счет прицепщики, которые тоже умеют ездить на тракторах. Но прицепщики — это или опять же женщины, или ребята-подростки, а те сами вот-вот уйдут в армию. Говорят, девок будут учить работать на тракторах. Это хорошо, что их будут учить, а вот за что и с какой брони сняли дядю Гришу? Бронь же на танке, железо такое крепкое, непробиваемое, при чем здесь дядя Гриша Соломеин?

Обо всем этом Шурка слышал от стариков, которые по привычке еще собирались вечерами на бревнах у лесопилки покурить, поговорить о том о сем. Был среди них и Филимон Нестерович, самый, наверное, старый дед, он говорил больше всех и все знал наперед. Дед, как и все, прочил скорую победу над «германцем», приводил много примеров, как русские били врагов, в том числе и сам он, когда воевал с «ялошками» в девятьсот пятом году. За свое матросское прошлое и еще за поговорку «Придави тебя якорь» деда часто так и звали — дед Якорь. От него же Шурка узнал, что вместо отца заведующим механической мастерской назначили бывшего бригадира механизированной полеводческой бригады Ивана Семухина, молчаливого, косящего на один глаз мужика. Его не взяли в армию и, наверное, совсем не возьмут, потому что он еще и хромым — когда-то давно сломал ногу, и теперь она у него короче. Не взяли в армию и молодого агронома Войкова — это специалист, и без него совхозу не обойтись. О Войкове тоже говорили старики.

Вовка Басаргин, брат ушедшего на войну Ганьки, возмущался, когда узнал, что агронома оставили на «брони».

— Интересно получается, — недоумевал он, округляя задиристые глаза. — Всем, дак всем на войну, нечего тут раскатываться на жеребце. Да еще командует. Вот прилетит Ганька на своем ястребке, тогда откачается...

Вовка очень любил старшего и единственного брата и прямо презирал агронома — было у него для этого презрения полное основание. Шурка потом вспомнит. А пока Вовка всем без усталости рассказывал, как отважно воюет Ганька, бесстрашный летчик, только почему-то раньше работавший в совхозе шофером... Шурка с ним не спорил, не выказывал по этому поводу сомнений, потому что, во-первых, Вовку никогда не переспоришь, во-вторых, Ганька и вправду учился в каком-то «Осоавиахиме» и, говорят, на летчика, в-третьих, сам он не любил крутого, зазнавшегося, ну, в общем, неприятного для него Вой-

кова. И непонятно было, почему не взяли на войну именно его. Мать говорила, что отец тоже специалист, механик...

Стал было обживать Шурка, привыкать к всяким переменам. Не то, чтобы равнодушно, а уже без прежней ранимости относился ко всем новостям, доходящим до него отовсюду — от стариков, от ребят, от случайно услышанного разговора на улице. Теперь каждый день приносит что-нибудь новое, а любые новости, если они часты, теряют интерес.

И так продолжалось до сегодняшнего дня. Извещение, опущенное почтальоншей в ящик, переворачивающий душу крик Пушкарихи вывели Шурку из обманчивой забывчивости, и он остро и глубоко, глубже, чем когда-либо, почувствовал утрату.

Усталый, отягощенный непривычными думами,

Нынешней весной, когда не было войны, они сидели здесь с отцом. Тополя только-только распускались, от набухших почек, от проклюнувшейся бурой листвы пахло медом, в ней жужжали пчелы. Отец сказал, что на Оленьем пчел нет и даже деревьев нет. Зато летом много цветов. Олений — это остров в море. На севере. Про север Шурка уже много слышал. Отец жил там, вернее, служил на корабле. Служил механиком. И в совхозе он потом работал механиком, только уже по тракторам и всяким другим машинам. Рассказывал, что летом на севере круглые сутки не заходит солнце, но все равно прохладно, потому что по морю длавают льдины. А на льдинах — тюлени.

Шурке очень хотелось побывать на севере, посмотреть на холодное море, на корабли. И на тюле-



Шурка спустился по берегу к пруду, сел под тополями. Матери дома нет, она на работе и еще ничего не знает. А может быть, уже сказали? Ведь он вернул извещение тете Дуне. Если сказали, то это лучше. Пусть сама узнает.

И все-таки маленькая надежда, слабенькая зорька еще теплилась в груди: а вдруг да ошибка, вдруг да похоронка вовсе не на отца, и вообще, похоронка ли это? Ведь он ее не всю прочитал, и мало ли что кричала Пушкариха! Она всегда кричит.

Шурка лег на землю, стал смотреть в зеленую еще, тихо шумящую завесь ветвей. Так было лучше, лежать и смотреть вверх. И не думать ни о чем плохом. Сами по себе подступили хорошие воспоминания.

ней — тоже. Отец обещал взять его с собой в отпуск.

А летом началась война. Вместо отпуска отец уехал на войну...

Но пока Шурка не видел в этом ничего страшного, война ему казалась просто затянувшейся командировкой отца, в которых он бывал не раз. Вот вернутся — тогда уж на Олений. Уезжая, он так и сказал: «Придется, сынок, отложить путешествие. Видишь, тут дела поважнее. Но не надолго...»

И Шурка верил: не надолго.

Однако шло время, и он понял, что война — это никакая не командировка. Там стреляют из настоящих пушек и по-настоящему убивают людей. Война идет с врагами, которые напали на его страну.

Больно бередила душу одна песня. Ее пели везде,

Тяжелая такая, все равно что крик какой. Или протяжный гудок. Или гулкий колокол, когда бьют по нему ночью, если увидят с каланчи пожар. В общем все смешалось в этой песне, и, услышав ее, сердце всякий раз наполнялось тягучей, долго не проходящей тревогой. И еще гордостью — за отца, за дядю Гришу Соломеина, за Ганьку Басаргина, за всех, кто ушел на войну. Потому что они не боятся врагов.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» — часто повторял Шурка сильно врезавшиеся в память слова из этой песни и всякий раз представлял широкое дымное поле, на котором с одного края выстроились бесчисленные ряды красноармейцев, с другого — враги. Враги — некрасивые, такие, какими их рисовали в газетах. «Как немецкий шакал на Москву и Тулу шагала...» — помнил Шурка слова под смешной карикатурой, висевшей у конторы: на большом плакате был нарисован злой, тощий шакал в образе Гитлера, напорившийся на красный штык. Вот такими и виделись ему враги.

Позднее он узнал, что враги эти — немецкие фашисты, а Гитлер — главный фашист. Или «германцы», как называли их старики. А бабка Секлетинья, так та «ерманцами» звала. Сухая и скрюченная, в юбке до пят ходила она по селу в чунях на босу ногу и, постукивая батоном, хрипло кричала в окна:

— Придут они суды, придут, нечистая сила! Во сне ночесь видела. Сидит будто бы мой Никифор, с прыщеватым ерманцем чай пьет... Не к добру экий сон!

Жила Секлетинья в старом доме-малушке на три окна. Жила одна, если не считать козлухи и двух кошек. В «первую ерманскую» у нее убили мужа Никифора, а в гражданскую — двух сыновей. Когда убили сыновей, Секлетинья, рассказывают, бросила с горя хозяйство и куда-то пропала. Много лет никто не знал, где она и что с ней. А потом неожиданно объявилась. Поселилась в своей же малушке — все, что сохранилось от некогда большого подворья.

Но объявилась уже «порченной». Выклянчивала денги, попрошайничала. А то и просто прибирала к рукам, что плохо лежало. Нет, не воровала, так, по-свойски, идучи из гостей, у них же что-нибудь и прихватывала. Ну кто оговорит старуху за луковку, за пару поленьев, за яичко, которое к тому же курица снесла не в своем гнезде, а на завалинке?

Но хоть и «порченная» была Секлетинья, никто на нее не сердился, не гнал от себя. Привыкли к ней вот такой и жалели. И правда, старая ведь она и больная. Кашляет все время.

Может быть, обо всем этом не стоило вспоминать, да тот вечер, когда Секлетинья кричала у окон, здорово врезался в память. Именно тогда Шурка неожиданно и отвратительно ярко представил врага: прыщеватого, обрюзглого, потного от выпитого с Никифором чая...

— В ту ерманскую мне тоже нехорошее приснилось, а опосля вон что вышло! — жаловалась Секлетинья. — От самого, от генерала, письмо... Погиб, пишет, твой касатик за царя и отечество, сгинул навсегда...

Как и все краснопольские женщины, Шуркина мать возвращалась с работы поздно. До этого лета она работала счетоводом в конторе, а теперя — в поле. Потому что некому стало выращивать овощи. Закре-

пили за ней большой участок капусты, и мать то поливала рассаду, то пикировала ее как-то, то пропалывала. От работы у нее болели руки и спина. Она тихо постанывала ночью, иногда вставала и чем-то сильно пахнувшим натирала руки.

Шурка старался помогать матери по дому. До ее прихода топил маленькую печку, варил и крошил курицам картошку с мякотью, встречал с пастбища корову. А уж после всегда ждал мать. Замечал ее еще издали, сразу узнавал среди других женщин, выбегал за калитку. Мать трепала его по светлым, выгоревшим за лето волосам, расспрашивала, все ли сделал, что наказывала, и они вместе возвращались домой.

Потом она долго оттирала черные руки в тазике с теплой водой, оттирала золой, и только лицо умывала с мылом. В плоской круглой баночке осталось маленько вазелина, и мать экономно смазывала им губы и щеки.

За ужином Шурка подтаскивал к столу третий стул — на то самое место, где всегда сидел отец. Видя эти уже привычные приготовления, мать всякий раз грустно улыбалась, и ее темные глаза влажели.

Шурка понимал, как сильно мать уставала на работе, и все время просился с ней в поле. Ну после школы, помочь немножко на ее капусте. Но мать говорит: «Если хочешь мне помочь, занимайся домашними делами». И Шурка занимается. Но надоело ему эти домашние дела! И печку надоело топить, ждять, когда она прогорит, и картошку курицам готовить, которых сколько ни корми — они все голодны и просить будут, и встречать за Шанхаем блудливую Акацию — она тоже обжора, не наедалась за день в табуне и каждый вечер норовила удрать в патрушинское болото на сочную осоку.

Но ведь помогать просил отец. А все, что он говорил, Шурка не забыл и не забудет. Об отце он думал ежедневно, постоянно, прямо жил им, и что бы ни делал, чем ни занимался, всегда мысленно обращался к нему: «А вот так правильно?», «Сегодня я картошку окучивал, тяпку сам наточил». «Молодец!» — хвалил отец, и Шурка оцепенело зажмурился: сейчас и в самом деле на плечо опустится ласковая его рука...

Нет таких слов, чтобы высказать, как Шурка хотел видеть отца, быть с ним. Только, конечно, не подавал виду. Интересно, другие ребята как? Вот Сашка Пушкарев, например? Или младший его брат Валерка? Машенька, та ясно, не ждет, она еще ничего не понимает...

Но скоро, очень скоро Шурка убедился, что все ребята ждут отцов. И женщины тоскуют по своим мужьям. Может быть, даже больше тоскуют, потому что часто ревут. Ревут вечерами, когда приходит почтальонша.

Жуткий интерес приковывал внимание и ребят, и взрослых, когда она со своей черной сумкой появлялась на улицах. Тихо делалось сразу. Все спешили по домам.

Раньше почтальоншу уважали, когда проходила по селу с письмами и газетами, зазывали в гости и между собой хвалили: «Добросовестная Дуня, хорошая Дуня, хоть в ночь, хоть в полночь, но все равно принесет почту». А теперя стали Дуни бояться. По-

тому что часто с ее приходом в какой-нибудь избе поселялось горе. Ее давно не приглашали на чай, ни о чем не спрашивали, если она шла по улице и миновала чей-либо двор, в доме облегченно вздыхали: «Слава богу, пронесло...»

Странно это казалось Шурке и обидно даже, что почтальоншу стали избегать. Ведь она приносила не только похоронки, но и добрые вести. Сколько радости, сколько разговоров, когда какая-нибудь семья получит с фронта письмо! Читают, перечитывают, передают из рук в руки. Будто солнышко в ненастную погоду осветит этот дом.

И уж совсем несправедливо было относиться к Дуне плохо сейчас — она, как и многие, теперь тоже солдатка. Год назад Дуня с мужем проводили в армию единственного сына Илью, а в середине лета ушел на войну и муж Иван. Шурка сам видел, когда он уходил.

Нет, почтальонша тут ни при чем. Это с горя напускаются на нее бабы. И Пушкариха с горя. Она вообще такая, кого хочешь облает. Секлетинья говорит, что и ребят своих «заела».

И верно, здорово им достается. Особенно Сашке, то и дело получает подзатыльники. Да и Валерка частенько голосит. Ну, а с Валеркой пищит и Машенька.

Сашка у Пушкаревых старший, ему, как и Шурке, девять лет. Помоложе на два года Валерка. Больше всех у Шурки лежит душа к Машеньке. У нее, будто из маковых лепестков, прозрачный носик, тонкие, словно у куклы, руки, а глаза синие-синие. Машенька, когда хотела, без всякого приходила к Шурке и сразу вмешивалась в его дела. Очень она любопытна, все надо посмотреть, все потрогать. Но может и смирихонько сидеть, натянув подол давно не стиранного платья на избитые колени, обхватив их руками, и наблюдать, приоткрыв рот с мелкими редкими зубами, как Шурка мастерит бумажного змея. А потом она весело побежит за Шуркой, подпрыгивая попеременно то на одной, то на другой ноге, на покосную луговину, где они станут запускать этого змея. Шурка никогда не гнал от себя Машеньку и не обижал. Жалко ему было такую крохотулю, и он всегда что-нибудь обещал наперед. И вчера так и сказал:

— Приходи завтра. Щурят силить научу...

Над всем этим Шурка размышлял, сидя на берегу под тополями. Он старался забыть сегодняшнее известие, думать о чем-то хорошем, радостном, а о радостном не думалось. Все воспоминания, все события последнего времени странно и непонятно, как ниточки к клубку, тянулись к сегодняшнему дню, к тому часу, когда пришла почтальонша...

Быстро смеркалось. За прудом, за камышами, за далеким угористым лесом вспыхнула в зисом сумеречном небе, заподмигивала первая звездочка. Влажно и зябко стало на берегу.

Мать уже дома. Шурка видел, когда она проходила по мосту, но не побежал, как всегда, встречать, и домой не идет. Мать сейчас наверняка плачет...

Толку-то что от слез? Раньше, если Шурка начинал из-за чего-нибудь хныкать, отец говорил: «Слезам горю не можешь». Или еще так: «Москва сле-

зам не верит». Только Шурка не знал, почему именно Москва не верит слезам. Все собирался спросить, да не успел.

Но это не так важно. Он, Шурка, не особенно-то распускал нюни, да и не будет. Надо быть крепким. Таким, каким учил быть папа. Стиснет вот так зубы — и молчок! Лишь скажет плачущей матери: «Москва слезам не верит!»

А может, она еще ничего не знает? Пришла с работы, разогрела ужин и ждет его, беспокоится — где же сын?

Шурка поднял голову, прислушался. И разом ожило все село: в глухом балухинском дворе, задыхаясь в тугом ошейнике, изводилась от злости собака — кто-то проходил мимо; звякнуло в проулке у колодца ведро, заструилась, зажурчала звонким колокольчиком цепь — кто-то брал воду; захлопал, забил тяжелыми крыльями в чьем-то сарае петух — залетел на насест. Привычно, знакомо все. Но что там еще? И вдруг больно резануло уши: за тополями, за огородами, в пахнувшей дымом полутьме завывала Пушкариха. Ух, как муторно! Ее измученный голос будто ввинчивался в душу. Пушкарихе помогала Секлетинья. Она заучено причитала, проклинала кого-то. Матери и старухе тонко и нестройно подтягивали Сашка, Валерка, Машенька...

Что-то удушливое подступило к горлу, зажгло веки. Как ни крепился Шурка, слезы все же сорвались с ресниц, покатались по щекам, забрызгали на колени. Убит отец! Как же теперь без него? Нет, не правда! Отец вернется с войны, такой же сильный, веселый, и они отправятся на Олений. И нечего зря реветь!

Шурка рукавом вытер лицо. Оглянулся. Никто не видел его плачущего. Встал и решительно зашагал к дому.

Мать сидела на кухне. Как-то странно сидела, вроде бы дремала. Она не обернулась на скрип двери, даже не подняла головы. Перед ней на столе лежала та самая желтая бумажка. Мать невидяще смотрела в пространство и теребила мокрый краешек передника.

Шурка почувствовал, как затукало у него в висках, перехватило дыхание. Но справился с собой. Молча приблизился к матери, тронул за руку. Она подняла на него усталое лицо с затекшими веками, тихо спросила:

— Где же ты был, сынок?

Шурка хотел сказать, что Москва слезам не верит, но из-за того, что не знал, почему Москва не верит слезам, сказал другое:

— Мама, слезами горю не можешь...

Мать порывисто прижала его к вздрагивающей груди и, обладавая жарким дыханием, принялась целовать в щеки, в лоб, в волосы. Шурка не вырывался, не противился этим иступленным ласкам, а только ник и ник теснее к матери. И потом, когда она немного успокоилась, долго не мог оторвать головы от ее груди, скрывая собственные слезы и остро ошущая, как что-то горячее, будто каленые гвозди, прокалывает сквозь рубашку его плечи.

Вскоре из Петрогорска приехал военный начальник, и вечером у конторы собрали народ. Даже пос-

ляли гонца скликать рабочих с полей и ферм, чтобы все услышали, о чем будет говорить военный. Конечно, сбежались и ребята.

А военный с двумя шпалами в красных петлицах говорил с высокого крыльца конторы об особом положении Краснополя, что село это пригородное и в условиях военного времени возможны всякие непредвиденные обстоятельства. Ну, например, вредительство. Поэтому, говорил военный, все жители села, и взрослые, и дети, должны быть бдительными к пронкам врагов трудового народа. Брать на заметку не только каждого незнакомого человека, но и примечать всякие подозрительные действия своих. И сообщать туда-то и туда-то, тому-то и тому-то.

Еще он сказал, что внутренние враги были и есть.

старшая Балухина.— Чего, говорю, очко уставлял! Горластую Балухину побаивались все, даже такие хватые, как Тимоха, но тут он, подогретый наказом военного, не испугался, вытянул палец и сказал:

— Ты первая контра!

— Я тебе покажу контру! Ты у меня запрыгаешь, обалдуй несчастный! — завелась Балухина и с поднятыми толстыми кулаками двинулась на Тимоху.— Мой-то кровь проливает, а этот, прости господи!

К Шурке подошел Симка Буторин, деда Якоря внук, ушастый, толстогубый подросток с рыжими глазами навывкате.

— Это, самое, вот что, — возбужденно начал он.— Сегодня, как стемнеет, пойдем диверсантов ловить.



только до поры затаились, растворились в массах, а сейчас все чаще, все смелее поднимают головы. Военный призывал вести с врагами трудового народа непримиримую и решительную борьбу.

Когда военный уехал, немножко напуганные, насторожившиеся краснополцы долго не расходились, как-то непривычно подозрительно посматривали друг на друга. Скотник Тимоха Рогожин, прозванный из-за бельма на глазу Очком, засунул руки в карманы штанов, сделал каменно-непропускаемое лицо, прошелся, покачиваясь с носков на пятки, возле девок. Остановился против оробевшей Пани Морошкиной, смерил взглядом с головы до ног, непонятно хмыкнул, переступил на два шага, уставился на Тоньку Балухину.

— Ты чего вылупился? — немедленно встала впереди дочка и всю загородила своей мощной фигурой

Я знаю, где они прячутся, каждую ночь фонариками мигают... Пойдешь?

То же он сказал Сашке Пушкареву, Вовке Басаргину, другим мальчишкам.

...Они сходили на покотину, обошли огромный, бревенчатый, стоящий на высоких сваях совхозный склад, заглянули на лесопилку, пританчившись, посидели в засаде у конторы. Нет, нигде не мигают фонарики.

— Это, самое, вот что, — сказал Симка плохо полувившимся шепотом.— Надо Балухину проверить. Слышали, что Очко сказал? Ты, говорит, первая контра!

В кромешной тьме — в эту ночь все наглухо закрыли окна — ребята, крадучись, пробрались проулком к балухинскому дому. И верно, в доме не спали:

сквозь плотную городьбу заплота полосками пробивался слабый свет. Доносились приглушенные голоса.

— Т-с-с! — приложил Симка палец к толстым губам. — Я вам говорил — контра, вот она!

По командирским окрикам на кого-то ребята без труда узнали саму Балухину, а мужской голосок пожиже, с характерным татарским произношением — не сразу.

— Да это же пилорамщик Раис Фактуллин, — догадался Симка. — Интересно, что они тут делают?

Из ограды слышалась какая-то возня, надсадные вздохи, какое-то хлюпание. Забулькала сливаемая вода, и вместе с ней ребята почувствовали запах не то парной крови, не то свежего мяса.

— Это еще чем пахнет? — насторожился Сашка Пушкарев. — Режут, что ли, кого?

— Точно режут! — подтвердил Симка, потянув чутыстым носом. — Борова зарезал Раис, видел сегодня, ножик в механичке точил. Сам свинину не ест, а колоть всем колет. Так и жди, завтра Варвара повезет на базар мясо. С лесником Мышкиным, конечно, на его лошади. У-у, контры!

Вовка Басаргин хотел подобраться к воротам поближе, но зацепил ногой валявшееся старое ведро, оно, бухая, покатило по канаве. В ограде тотчас загредел цепью и зашелся утробным лаем кобель.

Ребята знали этого зверюгу-людоеда, не то что заходить в балухинский дом, мимо пройти боялись, а сейчас и вовсе переполошились. Не выдержал и первым же вскочил Вовка, злосчастное ведро опять попало ему под ноги, и он, запинаясь, слепо понесся в темноте к Патрушихинскому пруду. Ничего не оставалось, как побыстрее убираться всем — Балухина могла спустить собаку, — и вот они летят, перегоняя друг друга, к спасительному берегу.

— У-уф! — грохнулся Симка спиной к провисшему тыну Секлетиньиного огорода. Огород ее спускался к самому пруду, оставляя у воды узкую полоску для прохода. — Все дело испортил! Узнать бы, зачем, для кого по теллу завалила такого поросюгу!

— Что я сделаю, раз оно подвернулось? — переводя дух, заоправдывался Вовка.

— Подвернулось, подвернулось! Смотреть надо! — назидательно сказал Симка и эффектно плюнул прямо в речку. Он всегда плевался, когда злился или нервничал. — Соображать надо, мы же не на прогулке, шпионов ловим...

В четырнадцать лет Симка уже научился курить. Курил в открытую, никого не боясь и никого не стесняясь. Хотел было скрутить сигарку и сейчас, но, подумав, оценив обстановку, сунул жестяную баночку с табаком обратно в карман.

И тут все увидели, как ярким сполохом осветилось за Патрушихой осеннее небо. С минуту померцало голубоватой мертвенной жутью и потухло. Потом еще и еще раз померцало. В перерывах между этими вспышками ночь казалась еще темнее, зловещее. Так и чудились крадущиеся со всех сторон шпионы и диверсанты.

— Что это? — запавшим голосом спросил Вовка Басаргин. — Сигналы, что ли, кому подают?

Ребята и раньше замечали такие голубоватые выверки над полем, но никто не задумывался, что это. Сверкает и сверкает. А вот тут насторожились, давай строить догадки, высказывать предположения.

— Это со Змеиной горки сигналият, — сказал Федька Говорухин, и голос его дрогнул. — Шас ракеты начнут пускаться...

— Не-е, оттуда не полетят, — не согласился Сашка Пушкарев. — На Змеиной горке камень для стройки берут, там теплушка, а в ней сторож живет.

— Живет! Может, уже убили... — развивал мрачную догадку упрямый Федька, кутаясь, как одеялом, просторным отцовским ватником.

— Да что вы мелете! — решительно возразил Шурка. — В той стороне хутор, механическая мастерская. Какие в механичке шпионы?

— И кузня там, — добавил Сашка Пушкарев. — Мой папка в ней работал. Но ведь папки нет, кто распалил горно-то?

Симка снова вытащил баночку с табаком, оторвал газетку, давай спокойно муслявить сигарку.

— Не бойтесь, ребя, это от электросварки, — пояснил он. — Иван Семухин тележку тракторную варит. Видел я днем. Сейчас механик все делает сам — и кует, и варит, и на станке точит. Нету рабочих. Вот меня собираются в кузню взять...

— Варит ночью, так ведь это же видно! Вон, на все небо светит, а мы тут какие-то окна завешиваем. О чем военный говорил? — сильно засомневался Шурка в действиях нового заведующего мастерской, Ивана Семухина, сменившего Шуркиного отца.

— Ну и пусть варит. Когда ему больше варить, как не ночью? Днем другие дела. А что сверкает — это не страшно для маскировки. Он же работает! Вот если бы фонарики, тут другое дело. Где мигают фонарики, надо посмотреть, с ними диверсанты...

II

От всяких дум, ожиданий, томительной неизвестности Шурка устал. Иногда ему казалось, что он забыл и не может вспомнить что-то очень важное. «Уж не сплю ли я?» — однажды подумал Шурка и потом долго не мог отвязаться от этой мысли. Каждый раз, укладываясь в постель, он обманывал себя надеждой, что вот проснется утром — и ему будет легко и беззаботно, как до нынешнего лета. Но наступало утро, и ничего не менялось.

Дождливая, слякотная выдалась в том году осень. И затянулась не по времени. Кончался октябрь, а еще не было ни одного мало-мальски заметного заморозка. Тяжелое низкое небо будто прокисло: не сильно, не разом, но с угнетающим постоянством сыпало и сыпало на землю зябкой нудной мокрядью. Густой сизый наволок туч так и давил почерневшие поля. Лишь наполовину убранные, они сиротливо мокли под дождями, комковато-неуютные, забытые и пустынные.

На уборку овощей или, как говорили везде, на спасение урожая, были брошены все силы совхоза. Опустела животноводческая ферма, механическая мастерская, контора. Все, все вышли на поля. Да и правда, куда уж тянуть. Никогда не бывало, чтобы до такой поздней поры не вырыли картошку. А ее на полях оставалось больше всего. Ясно, что забыли о выходных днях, праздниках. Работали с рассвета до ночи, в любую погоду и все равно не успевали: много, слишком много было полей, а работников мало...

Дошла очередь и до школы. Сначала на уборку

ходили только старшие классы, но вот как-то на последнем уроке и Елена Сергеевна сказала:

— Завтра, ребята, одевайтесь потеплее. Учебники и тетради не берите. Пойдем убирать картошку.

Шурка обрадовался: вспомнил, как хорошо было на поле в прошлом году. Бледное, будто выцветшее небо, нежаркое солнце, взлескивающие паутинки в синем воздухе, там и тут — пахучие, лениво ползущие дымы. Это в кострах пеклась картошка.

Утром он пришел в школу раньше всех. Ни учителей, ни ребят еще не было. Присел на дворе на скамейку. Все на нем честь по чести — сапоги, старое пальтишко, на голове шапка. В узелке — урезок вчерашнего хлеба, два вареных яичка и спичечный коробок с солью.

По дороге мимо школьной ограды, скрипя вихлястыми колесами, тянулась вереница подвод, груженных порожними ящиками и корзинами. На одной из них Шурка увидел тетю Юлю Соломенну и кое-как узнал ее. В просторном дяди Гришином плаще, с накинутым на голову мешковатым капюшоном, она сидела впереди, неловко взгромоздив ноги на оглоблю и, понукая ленивую лошадь, подергивала вожжами. Тетя Юля тоже увидела Шурку, крикнула:

— В поле, что ли, погнали вас? Если на картошку, то садись, увезу.

Шурка сел бы к тете Юле, но надо дожидаться Елену Сергеевну, ребят из своего класса.

— Я подожду ребят, — сказал Шурка, — а то меня потеряют.

— Никто тебя не потеряет, туда же все придут. Айда быстро!

Шурка полез было на задок, в свободный от ящиков угол, но тетя Юля велела садиться рядом. Укрыла полой плаща, придвинула к себе.

Некоторое время ехали молча. Тетя Юля все же разогнала ленивого мерина, и он резво заотмахивал копытами, дробно потряхивая на камнях громоздкую поклажу. Шурка смотрел на проворные ноги лошади, сильно и резко отбрасывающие ошметки грязи, и почему-то сравнивал ее бег с походкой Варвары Балухиной. Скрытная от людей, всегда спешащая, она каждое утро пробегала возле Шуркиного дома к проселочному большаку, который ведет в Петрогорск. И не просто пробегала, а тащила для выгодной продажи на базар то аккуратно связанные пучки зеленого лука, то поздние янтарно-красные помидоры, то ведерные бидонья молока или варенца, отягощенно свисшие на коромысле.

Как-то интересно получается: совхоз задыхается от нехватки рабочих рук, вот-вот уйдут под снег небурные поля, а Балухиной хоть бы что, будто она посторонний здесь человек! Неужели на нее нет никакой управы? Вместо работы на полях, продает на базаре собственные овощи, торгует мясом. Пусть хоть и солдатка! Все женщины теперь солдатки, и все работают. Знают же, что наживается на людской нужде, втридорога продавая ту же картошку.

Вот и сегодня чуть свет Балухина, осторожная и быстрая, в серой меховой поддевке, отороченной снизу белым барашком, в пушистом платке, воровато пробежала мимо палисадника, таща на могучих крыльцах мешок, перехваченный по углам и горловине скрученным полотенцем.

Когда проехали просевшую бревенчатую гать через болотину, тетя Юля спросила:

— Нет ничего от отца-то?

Шурка настороженно поднял голову.

— Нет, а что?

Он еще не сообразил, что ответить, но уже понял, что такой вопрос означает не что иное, как утверждение его большой веры, что он не один, и другие верят — отец жив, с похоронкой вышла ошибка, а потому разом ободрился и добавил:

— Пока нет писем...

Тетя Юля откинула капюшон, затолкнула под шаль выбившиеся волосы, глянула на Шурку молодыми, открытыми, как сама надежда, глазами:

— Знаешь что, парень? Ты не горюй шибко-то. Ходишь потема потемой — куда годно! Сейчас ведь всякое могут напутать. Вон, в Залесье, на Николая Берестова тоже пришла похоронка, а что из того? Через месяц — письмо. От самого, от Николая. Жив, здоров, пишет, в окружении, пишет, был, да вышел. Всякое могут напутать...

Шурка сам слышал про Николая Берестова, было такое дело. Не только он, не только тетя Юля — все, кто ожидал с фронта вестей от своих близких, вспоминали теперь счастливое письмо от потерявшегося было Николая Берестова. И думали: именно такая история приключилась и с их родным человеком.

— Я и не горюю, — окончательно оживился Шурка. — Я знаю, что папа вернется...

На длинное, уходящее наизволок размытыми бороздами картофельное поле подходили и подъезжали люди. Почти одни женщины. Только девчатами верховодил Тимоха Рогожин, бегая перед ними взад-вперед с пустыми ведрами, да еще промелькнул с плакатом под мышкой местный художник, артист, гармонист, а все вместе — завклубом Вася Коновалов. Он, по всему видно, прибыл сюда «культурно» обслуживать население.

Женщины пока не приступали к работе, что-то обговаривали меж собой, спорили. Самое это гиблое поле — низина, сырь сплоская, местами в бороздах стояла вода. Тут не то что трактор; лошадь с плугом не пустишь. Поэтому копать собрались вручную.

Женщины шумно распределяли между собой участки. Каждой хотелось выбрать место посуше. По крику Шурка сразу узнал в одной из групп Пушкареху, Вовки Басаргина мать — Егоровну, бабушку Секлетинью.

И ее принесло! В старющем залатанном пальто, подпоясанная все той же рогожной тесемкой, Секлетинья тоже что-то кричала, указывая палкой в стороны. «Сидела бы уж дома, не путалась здесь», — неприязненно подумал Шурка, вспомнив, как порядком надоела она ему своими наставлениями в огороде.

Все вдруг притихли и посмотрели на дорогу. На чалом сухоногом жеребце, запряженном в двуколку, весело позванивая бляхами на сбруе, ехали совхозный директор Гаврила Матвеевич Комлев и первый его помощник, главный агроном Войков. Свернув на распанную кулижку, двуколка остановилась, и агроном, спрыгнув на землю, стал созывать женщин.

Когда все собрались, он начал горячо говорить, призывать к честной самоотверженной работе. Говорил долго, складно, будто читал с листочка, и все

рубил рукой воздух. Женщины слушали его молча. Только Шурка не все понял, а что понял, ему было не интересно. Ну кто не знает, что идет война и надо сейчас работать, не считаясь со временем, с непогодой? Всем это ясно, даже им, школьникам, иначе бы не отменили занятия. Еще агроном сказал, что сегодня, пока не вырют всю картошку, с поля уйти никто не имеет права. Такой приказ. Как на фронте.

А директор сказал коротко:

— Товарищи женщины, трудно, очень трудно, но сегодня надо сделать все возможное. Убрать надо урожай.

Потом директор сел в свой двухколесный ходок и уехал дальше один.

Как только он уехал, женщины плотно обступили

крепкие, как древесные корни, вязиги полевых стеблей с серебристыми, еще не успевшими осыпаться метелками, да кое-где, горемычно свесив обклеиваемые птицами головы, стоя умирали недозревшие подсолнухи.

Возить пока было нечего, и тетя Юля, сбросив плащ, тоже взялась за лопату. Шурка оглянулся — школьных не видно, подошел к ней.

— Я вам помогать буду.

Тетя Юля посмотрела на Шурку благодарно, улыбнулась и согласно кивнула головой.

Картошка была мокрая, холодная и выбирать ее приходилось из сплошной грязи. Сразу же Шурка весь вывозился. Вездесущая Секлетинья опять обозвала его «арапом», а заодно подсказала, пока нет



ли Войкова. При директоре помалкивали, а теперь осмелели. Заедливая Пушкариха совсем придвинулась к агроному и, размахивая руками, беспорядочно понесла:

— Это что за законы такие — не имеем права уходить с поля? Кем они написаны? Не пужай, мы и без твоих подсказок приросли к земле! Что это за команды за такие? Ведь с капустой-то можно было погодить, наперво картошкой заняться! На капусту, дак вон из города людей нагнали, вакуированных заставили работать. А тут все с одних рук!

Не слушая недовольную колготню, Войков пересчитал нужное количество рядков, что-то отметил в блокноте, пошел вдоль борозды. А рядки были едва заметны, до того их сровняло дождями, и ботва вся пожухла, слегла. В бороздах покачивались только

дождя, не складывать картошку сразу в ящик, а оставлять тут же — для просушки.

— Да гнилую-то, гнилую смотри! — скрипела за спиной Секлетинья, тыча батоном под тети Юлину лопату.

Гнилой картошки и правда попадалось много, но кто ее отличит в такой грязи? И на ощупь не узнать. Пальцы одеревенели, потеряли чувствительность. Берешь вроде картофелину, а стукнешь об ящик — комок глины.

Выбирать ее помогает и тетя Юля. Выкопнув гнездо, она опускается коленом на черенок лопаты и быстро, совсем не так, как Шурка, орудует обеими руками. «Какая она терпеливая», — уважительно думает Шурка, — тоже ведь руки мерзнут, а не ругается, не клянет погоду и начальство, как Пушкариха,

От этого и самому охота работать быстрее, и он хватается, хватается непослушными пальцами скользкую картошку, старается не обращать внимания на мерзнувшие ноги, на противную холодную сырость, все выше подбирающуюся под рукава.

Подошел Войков. Брезентовый дождевик, перехваченный широким ремнем, сидел на нем ладно, пригониисто, как командирская шинель. Такую схожесть дополняла и полевая сумка на боку. Да вообще все: прямой нос, острый, как бы выдвинутый вперед подбородок, решительный взгляд из-под тонких подвижных бровей. Говорят, он один агроном остался на весь совхоз. Но хоть и похож Войков на командира, Шурка не любил его. Было нынче такое — вспомнить стыдно...

Сказал он как-то Шурке при случайной встрече и, видно, при хорошем настроении, что были они с его отцом приятели и что если у него «есть желание», пусть сбегает на опытное поле поесть сладкого сортового гороха. Прямо сам насоветовал, да еще хлопал этак дружески по плечу — успевай, мол. Желание было, и в тот же день Шурка с Вовкой Басаргиным без всякой опаски пришли на это поле. А тут откуда ни возьмись налетел полеобъездчик, огрел обоих хлыстиком и погнал, как скотину какую, впереди своей лошади в контору. Там давай разбираться, допрашивать: давно ли устраивают такие набеги, не послал ли кто, не умышленно ли вредят опытному хозяйству? Оказывается, кто-то раньше обобрал, вытоптал горох, а вот их поймали. К тому же у Шурки вытряхнули из-под рубахи горстку стручков — собирался угостить Машеньку Пушкареву.

Заходил в кабинет и Войков. Шурка сначала обрадовался, увидев его, сейчас тот все объяснит, уладит, но агроном сделал вид, что ничего не знает, даже не взглянул на ребят, взял со стола бумаги и вышел. А напоминать ему Шурка не стал и никогда этого не сделает. Полеобъездчик составил на ребят акт.

А потом вызвали в контору матерей, тоже, наверно, ругали, потому что Шуркина мать пришла домой расстроенная. Шурку она не наказывала, только запретила самовольно ходить на поля, брать что-то с них и еще сказала, что агронома больше слушать не надо.

И вот он стоит над ним. Стоит, как столб, неподвижный, прямой. И чего надо? Шурка видит его сапоги и томительно ждет, когда они сдвинутся с места, исчезнут из глаз.

Но агроном не ушел, переступил ближе к тете Юле.

— Давай-ка, Люша, вместе.

Тетя Юля тихо засмеялась и сказала, что начальству негоже самому возиться с картошкой, потому как руки его, хоть он и агроном, непривычны к земляной работе. Лучше они поработают с Шуриком.

И тут Войков узнал Шурку.

— А, Привалов-младший! Ну здорово, здорово! А я-то думал, ты на горохе. Или огурчики из теплицы потаскиваешь...

Перехватив будто стрельнувший Шуркин взгляд, Войков примирительно добавил:

— Ну да ладно, считай, что я пошутил. Мало ли, какие ошибки мы в молодости совершаем. Только почему один? Где мать?

Шурка не успел ни огрызнуться, ни ответить, сказала за него тетя Юля:

— Вам бы, Эдуард Семенович, лучше знать, куда разнаряжены рабочие. У Клавдии Приваловой ведь свой участок, капуста. Два гектара за ней закреплено. Неуж забыли?

— Вот и помогал бы матери, — переменял агроном голос, совсем как командир, взглянув на Шурку. — Давай-ка на капусту, там больше будет толку!

— Да со школой он, Эдуард Семенович, — защищала тетя Юля. — Неуж не знаете, все классы сегодня на поле выходят.

У Шурки зло и дерзко сорвалось с языка:

— Я не в вашем огороде, и не командуйте здесь! Войков удивленно выпрямился.

— Это кто мне говорит? Этот сопляк? А ну, марш отсюда! Быстро шагай к матери!

Бессильная обида захлестнула Шурку, презрительно зыркнув на агронома, он не пошел, а побегал прочь, ничего не видя перед собой.

«И она еще улыбается ему, — обидно думает Шурка, складывая картошку в корзину. — Что нашла в нем хорошего? Вот Пушкареха тут правильно делает — ругается с агрономом, не боится».

Борются в Шурке два чувства: уважает, сильно уважает он тетю Юлю, верит ей во всем, и в то же время что-то его настораживает: такая ли она в самом деле? Почему с усмешкой поговаривают о ней женщины? Не потому же, что она самая молодая среди них. И позволяет всякому называть себя «Люша»! Как-то даже странно: все серьезные такие, сердитые, ругаются из-за всякого пустяка, она — голоса ни на кого не повысит, ни с кем не заспорит, а подойдет мужик — улыбка до ушей. Забыла, что ли, уже дядю Гришу?

К Шурке подошел Вовка Басаргин. Шапка на нем Ганькина, а потому велика, все время сползает на глаза. Вздернув голову, чтобы видно было Шурку, Вовка сказал:

— Давай вместе собирать картошку. А то там одни девчонки. Пискня эта Фроська Вепрева...

— Мне-то что, — вяло согласился Шурка. Посмотрел на Вовку и добавил: — Только ты рассказывай что-нибудь.

Кто-кто, а Вовка умел рассказывать. Даже если придумывал — все равно интересно у него получалось.

— А про чо?

— Ну, про что хочешь. Можешь про Ганьку. Он же, говоришь, летчик.

При упоминании брата Вовка сразу оживился: блуждающе поводит глазами и бухнул:

— Он уже пятый самолет сбил... Знаешь, как? — И Вовка воодушевленно начал длинную и складную небылицу о том, как брат его летает на самом быстрокрылом ястребе, какие делает фигуры в воздухе и как смело сбивает немецкие самолеты.

— Фашист, значаца, удирает, а Ганька сверху на него, вот так, значаца, на крыло переворачивается... — самоотверженно врет Вовка и показывает, как удирает фашист.

— Только ты работай, норма ведь у нас. Рассказывай и работай, не маши руками, — замечает Шурка.

Слушает он Вовку, а сам вспоминает, как сидели они в конторе и как полеобъездчик составлял на

них акт. Отчего же Войков такой нечестный? Ведь сам послал на горох!

— Подожди,— остановил Шурка.— Помнишь, как нас на горохе поймали?

Вовка сбился, недоуменно уставился на Шурку.

— На каком горохе?

— На сортовом, на каком еще. Когда полеобъездчик плеткой нас отлупил, а потом увел в контору.

— А-а! А ты чо вспомнил?

— Давай расскажем Елене Сергеевне про Войкова. Что он так поступил. Сперва послал, а потом...

Нет, Шурка заговорил об этом не от злой памяти, а от того необъяснимого чувства не то жалости, не то ревности к тете Юле, с которой так вольно обращался агроном. Желание какой-то отместки за все, что увидел, услышал сегодня, не покидало Шурку, не развеяли его и Вовкины рассказы о храбром брате. Он мучительно искал причины, за что бы и как-то крепче насолить этому человеку, но не находил, не знал как, и безнадежно настаивал:

— Давай расскажем!

— Толку-то,— отмахивался Вовка.— Он уже, наверно, и забыл про это.

— Забыл... Если бы забыл, так не вспомнил бы.

— Когда вспомнил?

— Когда, когда! — рассердился Шурка.— Сегодня, вот когда! «А я-то, говорит, думал, ты на горохе». Да еще про огурцы какие-то начал...

— Тогда сам и говори,— нахмурился Вовка.— А я не буду. Знаешь, что этот агроном сделает с мамкой, если узнает, что мы пожаловались? Поставит на самую трудную работу. В кочегарку может поставить. Или уголь со станции возить. А у нее и так ноги болят...

Шурка глянул на Вовку презрительно и отчужденно.

— Трус ты! Как схвачу сейчас ящик, да как трахну по башке — будешь знать!

— Пси-их! — опасно протянул Вовка, повернулся и припустил к девочкам.

Школьники только собирали картошку, выкапывали ее плугом. Это поле на взгорье, ровное, не размытое, не сравнить, где работали женщины, и тут можно было пустить между рядков лошадей. За плугом поспевал, быстро семеня короткими ногами, дед Якорь.

Занозистый он, этот дед Якорь, кого хочешь просмеет, кому хочешь на свой манер прилепит прозвище. В такие минуты бурое, клочковато заросшее его лицо делалось неисправимо задиристым, особенно, когда он прищуривал колюче-лукавые глаза, как бы нацеливаясь на жертву. Только не злой был, озорной просто. И цеплялся больше к тем, кого и следовало выставить на вид, «покрытковать», как любил говорить.

«А что если рассказать про агронома ему?» — неуверенно подумал Шурка.— Ведь дед Якорь никого не боится».

Шурка еще не решился на это, не придумал, с чего начать, как дед сам окликнул его:

— Подь-ко сюды, подмогни мне.

Он вывернул из земли плуг, опрокинул на бок, склонившись, стал прошупывать что-то.

— Держи вот тут, да крепче, а я подтяну малость.

Шурка ухватился за гривастый, отшлифованный до зеркального блеска лемех. Дед вынул из-за голенища гаечный ключ, принялся со скрежетом подкручивать прослабшие гайки. Ключ срывался с изношенных граней, и дед ворчливо ругал нового заведующего механической мастерской Ивана Семухина:

— Развал, самый что ни на есть развал в хозяйстве! Хоть бы Симку моего в кузню побыстрее поставил. Тянет чего-то, тянет! Все бы болтов да гаек наковал. А то как ушел Пушкарев, горна никто не распалил, придави его якорь!

Тогда в армию взяли не одного Пушкарева, многих мужиков взяли. В том числе и отца. Оставили самых, самых необходимых, и среди этих необходимых оказался агроном...

Шурка собрался с духом:

— А почему Войков не на войне?

— Кому-то воевать, а кому-то робить надо,— простодушно отозвался дед, позвякивая ключом.

— Какая у него работа, ходит тут, командует над всеми...

— А ты как думал? Командовать — тоже надо. Посчитай, один он на все полеводство. Без агронома никак нельзя. По науке теперича все делается. Надо знать, когда, какую овощь сажать, когда поливать, когда убирать. Да и мужик он твердый — во как баб держит!

— Что их держать-то? — возразил Шурка.— Только мешает всем...

— Кому это помешал?

Шурка, конечно, не мог сказать, кому помешал агроном, а то, что сказал, получилось смешно:

— Ну... Ну мне, например...

Дед вьедливо прищурил глаза.

— Глико, какая важная птица! Где же он тебе дорогу перешел?

— Нигде не перешел. Спрашиваю, почему не на войне?

Надоедать стала деду такая непонятливость Шурки, сунул ключ за голенище, часто заморгал дряблыми веками.

— Дык, дык, он же агроном, пустая твоя голова! Управляет всем полеводством! Об чем толкую — один остался. Чтoб хозяйство, значит, в надежных руках было. Теперича понял?

— Оно и так в надежных,— стоял на своем Шурка.— Не знают, что ли бабы, когда сажать, когда поливать? Иван Семухин хоть хромым, из-за этого его не берут на войну, а агроном почему остался? Все мужики на войне.

Дед вышел из терпения:

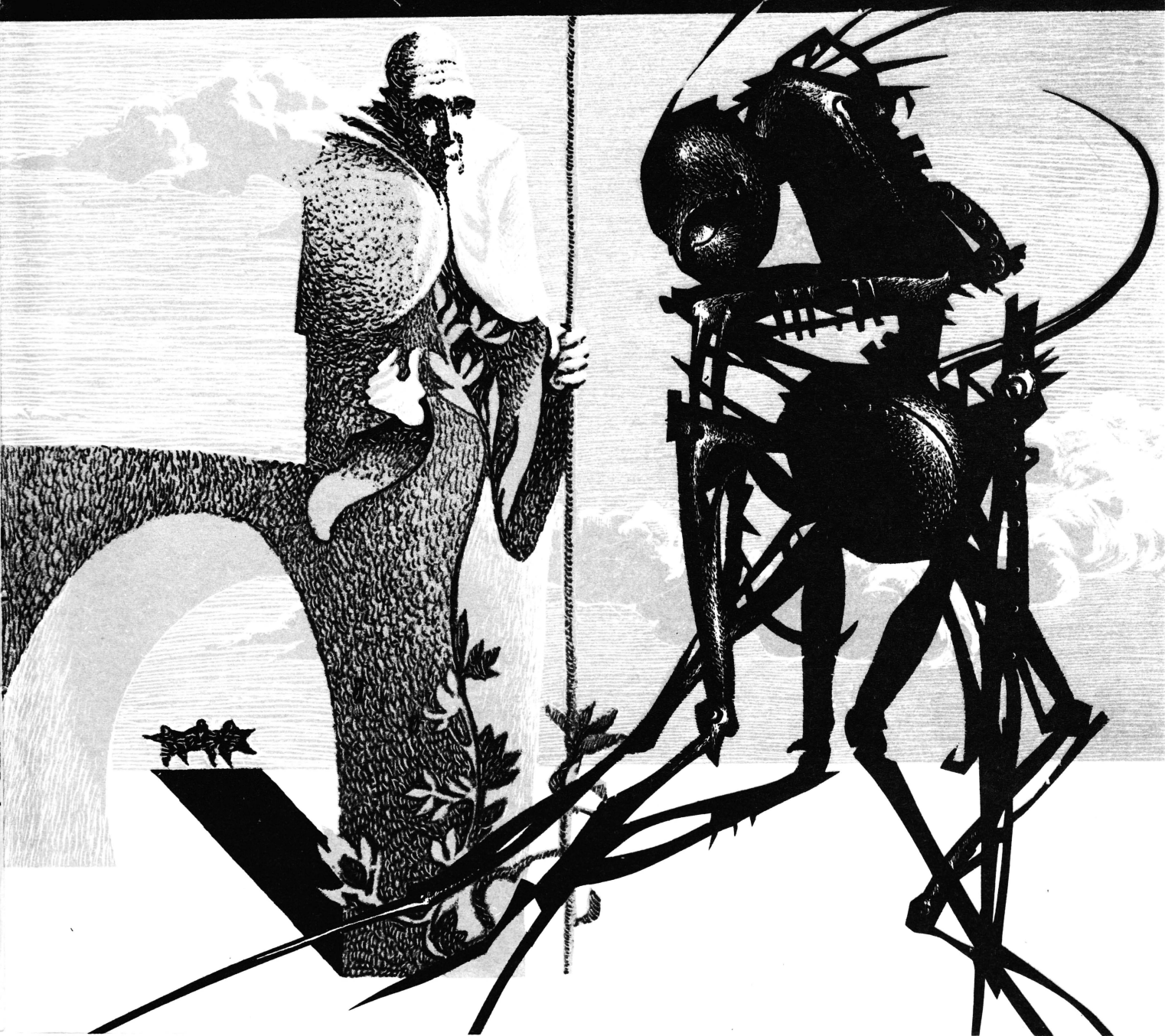
— Ты что ко мне привязался? Мал еще дознаваться, отчего да почему! Поди, без тебя начальство думало. А хошь знать, дак иди к нему и спрашивай!

Оттолкнул Шурку, поднял плуг.

— Но-о, придави тебя якорь! — крикнул на задравшую лошадь и, ухватившись за ручки, торопливо зашагал вдоль борозды.

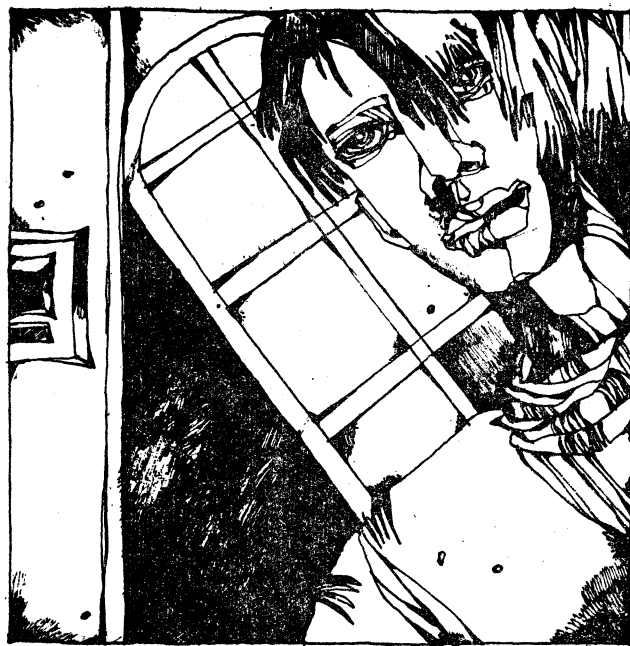
The Ninth

2'91





НИЧТО НЕ



ПОВЕСТЬ

НОВО — ТОЛЬКО

МЫ

¹ Когда родился тот, кого впоследствии молва провозгласила Господом Богом, никто, по-видимому, еще не знал, что наступила новая эра.

Начало второго тысячелетия христианский мир встретил уже осознанно, во всяком случае, умевшие считать годы наверняка почувствовали торжественность момента. Но таких грамотеев было не очень много, да и сам христианский мир еще не обладал большим могуществом.

Зато подготовка к встрече третьего тысячелетия началась, по меньшей мере, лет за десять до самого события, не говоря уж про разговоры о нем. Причем, не только христиане оказались втянутыми в эти веселые хлопоты, а и все население Земли, не исключая атеистов.

Вопреки, может быть, здравому смыслу мнилось человечеству, что там, за условной чертой летоисчисления, начавшегося в сущности с произвольно взятого момента, ждет его нечто невиданное, но непременно превосходящее известную действительность.

Журнальный вариант

Александр ЧУМАНОВ

Рисунки Натальи Заболотных

Человечество посмеивалось над этим своим невинным суеверием, а все равно заметно волновалось, все ближе и ближе подходя к заветному сроку.

1999 год целиком прошел под знаком надвигающегося события, ежедневно создавались и стихийно возникали все новые и новые комитеты, советы, штабы и особые совещания по достойной встрече всепланетного праздника. И каждое такое образование претендовало писаться с прописной буквы или грозными аббревиатурами.

В конце концов структура получилась следующая: все возглавил Всемирный комитет по организованной встрече двадцать первого века, ему напрямую подчинились континентальные Комитеты, континентальным — национальные и так далее. И помимо этого — множество не поддающихся учету неформальных юбилейных организаций, часть которых, а без этого не бывает, надеялась на волне подготовки к событию решить кой-какие свои групповые проблемы.

Но в целом стояли дни невиданного доселе братства народов, когда забывались на время, а то и навсегда, бесчисленные взаимные претензии, неоплаченные счета всевозможных грабительских кредиторов и неотлившися слезы давних и недавних обид. Каждый город, каждая страна старались внести посильный вклад в общую предпраздничную копилку, а те, кому внести было совсем нечего, предлагали почти дармовую рабочую силу для устройства увеселительных сооружений, добровольцев для создания живых мозаик и проведения массовых действий, без которых не обходилось ни одно более или менее значительное мероприятие той эпохи.

Ну, а рядовые граждане Земли, частные лица человечества, помимо участия в предпраздничных структурах, тоже, конечно, с нетерпением ждали наступления заветного мига. Ведь было же абсолютно ясно, что к первому январю ноль первого года имеет смысл приурочить все свои мало-мальски неординарные дела. И люди назначали свадьбы на первый день нового тысячелетия, подгадывали, естественно, с известной долей вероятности, рождение детей. И не боялись, что в столь замечательный день может не оказаться на рабочих местах наилучших специалистов по родо-воспоможению. Вернее, боялись, конечно, но стремление поиметь с праздника какие-то реальные дивиденды перевешивало обоснованные, но тоже имеющие вероятностный характер опасения.

И вот долгожданный миг наступил. Двадцатый век незаметно иссяк, столь же незаметно его сменил следующий век, и ночное небо озарилось грандиозным фейерверком.

Веселье быстро набрало обороты, выплеснулось на улицы, где и продолжалось до утра. Хотя, конечно, так было не везде, а лишь там, где не велась в этот момент интенсивная борьба за трезвость.

Сувениров, как и следовало ожидать, хватило для всех, потому что расчет потребного количества производился видными футурологами и статистиками. И все награжденные и отмеченные поняли, что если бы их набралось поменьше, то и сувениры были бы побогаче.

Наступило первое утро нового тысячелетия. Утро первого января. И как уже не раз бывало, люди увидели, что новое тысячелетие ничем не отличается от прежнего. Не знать доподлинно — так и не поймешь. И продолжали жить каждый свою жизнь, свою мимолетную вечность, полную личных эпох и эр. И принялись ждать окончания очередных временных отрезков.

Вместе с сотнями тысяч других младенцев родился в ту новогоднюю ночь и наш Одиссей. И его мама, получившая за сына Большую латунную медаль от Всемирного, якобы, комитета, всю жизнь потом сожалела о своих напрасных мучениях.

Нет, она хотела иметь этого Одиссея, и папа хотел, но вознаграждение за удивительный по точности расчет, за спокойно прожитую праздничную ночь, за фактически испорченный праздник показалось им слишком уж символическим. Хоть с кем такое получится, будет досадно.

2

Имена младенцам тогда давались соответственные. На рубеже нового тысячелетия возрос в обществе удельный вес Марий-Магдалин, просто Марий, просто Магдалин, Иисусов, Христосов, Назаретов, но чаще, конечно, просто Назаров. И в меньшей степени — Вирсавий, Савлов, Павлов, Палестин, Ноев, Пестимей, Евстолий, Матвеев и Матфеев. А также, само собой, Иуд. Получился очередной бум увлеченности всем библейским. И ничего нового, оригинального в этом не было.

И наверняка Одиссей тоже получил бы одно из библейских имен, поскольку родители его были людьми передовыми, которые всегда и во всем стремятся идти в ногу со временем. Однако обиженные родители изменили первоначальное намерение и вернулись на позиции религиозного нигилизма.

Так парень стал Одиссеем. Потом к нему прилепились производные от основного имени. Одя, Одик, почему-то Дуся. И непроизводные — Клопа, Клерк. Клерк — из-за всегда подчеркнута подтянутого, аккуратного вида, а Клопа — неизвестно из-за чего.

Одиссей рос нормальным парнем, охотно отзывался на кличку «Клерк», она его устраивала, ибо он считал себя настоящим «яппи». Это молодежное движение успешно утверждалось тогда во всем мире, что радовало старшие поколения, изрядно подуставшие от предыдущих десятилетий разложения, бездуховности, ощущения близкого конца света.

В воскресенье утром, хотя и не слишком рано, на тумбочке в прихожей нежно заворковал телефон. Одиссей был в постели, и к аппарату подошла мать.

— Аиньки! — сказала она в телефон еще более нежно, словно соревнуясь с пластмассовой коробкой. И не знающий мать человек мог запросто воспроизвести в своем воображении нечто ангелоподобное, не представляя даже, как сильно он заблуждается.

— Кого? А кто его спрашивает? А Одя сейчас... Ах, он сейчас принимает ванну! Позвать?

Мать чуть было не проболталась, что сын еще в постели, но вовремя опомнилась. Настоящий «яппи» ну просто никак не мог быть засоней и лентяем.

— Оди-и-к! — заголосила мать с нарочитой любовью в голосе. — Тебе твой друг Мотя звонит! Ты уже принял ванну?!

Одиссея мигом выдуло из постели. Он сполоснул рот водой, чтобы не был заспанным голос, прошлепал в прихожую, молча кивнул матери, принимая трубку.

— Ты, что ли, Сват? Хо-хо-хо! Куда? На Понтей? Это где? Сколько? Двести?! Нет, что ты! Иду, конечно, о чем речи! Иду, говорю! Через тридцать две минуты буду! Ну, все!

— Куда это он опять тебя сманивает?! — накинулась на Одиссея мать, едва трубка легла на рычаг. Теперь эта женщина ничего ангелоподобного не напоминала.

— Да не волнуйся, мама! — ответил Одиссей матери спокойно, как и подобает молодому интеллектуалу. — Во Дворце Компьютеров сегодня разыгрывается Понтей из системы Гаммы Лебеда. Планета земного типа. Возможно наличие разума. Обычный конкурс. Шансы, конечно, как всегда, ничтожны, но я буду участвовать в конкурсе. Конкурсы помогают нашему моральному и физическому развитию, повышают

жизненный тонус, конкурентоспособность. Ну, мама, ты же сама все отлично знаешь, ты же у меня эрудированная!

И мать, конечно, все великолепно понимала, ей не жалко было проигрываемых сыном копеек, она в свое время просаживала «в наперсток» куда более солидные суммы, но все равно считала себя обязанной прочесть сыну ежевоскресную нотацию, ибо только по воскресеньям у нее и было для этого время. И то немного. Матери казалось, что конкурсы конкурсами, а сжатая и мускулистая нотация неизмеримо полезней для молодой неокрепшей личности.

Отец же воспитанием сына лично не занимался, он полагал себя специалистом в этой области и ощущал некоторую бессмысленность данного занятия.

— Смотри,— сказала мать Одиссею в напутствие,— азартные игры затягивают! Помни об этом!

И Одиссей пообещал матери все, что она требовала. И они расстались.

4

Одиссей убежал, на ходу дожевывая бутерброд. А следом, неторопливо позавтракав, вышли из дома и родители. Их путь лежал туда же, во Дворец Компьютеров, хотя взрослых интересовали, конечно, несколько иные игры...

Наверное, даже отец кибернетики не мог предположить, чем станет заниматься его многострадальная наука в скором будущем. Основоположник ведь был, как ни крути, жильцом своего века, воспитанным примерами прочих наук, которые развивались столетиями, не торопясь, основательно, без шума и особых сенсаций. И научно-технические революции в прошлом совершались редко, длились десятилетиями, часто сами современники даже не догадывались, что присутствуют при очередной НТР.

Но на рубеже тысячелетий изменился, сам темп времени. На памяти одного-единственного поколения произошло столько удивительных изменений действительности, сколько их было, может быть, за всю предыдущую историю.

Авиа- и автотехника развились от нуля и до самого своего совершенства, космическая техника, едва народившись, устремилась к дальним мирам. Электронный ум, только-только придуманный фантастами, а после них и учеными, почти сразу стал практически полезным. Помимо всего прочего он проник в сокровенную суть человека, научился человека запоминать и в любой момент синтезировать его точную, само собой, живую и мыслящую копию. Конечно, тут не обошлось без применения новейших достижений биотехнологии и медицины.

Так появились на Земле Дворцы Компьютеров — самое оживленное место любого города, центр всякой деятельности и любых интересов всех людей. Выборы президентов, премьеров и прочих начальников и руководителей теперь совершались во Дворцах Компьютеров. Процедура была простой, быстрой, удобной и, стало быть, сверхдемократичной. Граждане шли через специальные кабинки непрерывным потоком, там, в этих кабинках, невидимые датчики снимали с каждого все мыслимые и немыслимые параметры, проводили мгновенные экспресс-анализы.

Компьютеры уже давным-давно умели самопрограммироваться, и никто не мог знать, какими критериями они руководствуются, по каким параметрам определяют наиболее подходящую кандидатуру на тот или иной пост. Таким образом, каждый гражданин был одновременно и избирателем, и претендентом на все посты.

Целыми воскресеньями во Дворце Компьютеров

проводились всевозможные выборы и конкурсы. Куда человек оказывался наиболее подходящим, туда он и отправлялся. И конечно, если вероятность того, что тебя признают достойнейшим на пост государственного руководителя, была ничтожной, то вероятность направления председателем какого-нибудь месткома получалась более значительной.

И если ты не прошел по конкурсу даже на рядовую работу, это вовсе не повод для отчаяния, а скорее наоборот, повод для надежд. Поскольку мудрые машины следили еще и за тем, чтобы человеческие способности использовались максимально, чтобы комбинированный критерий счастья тоже получался наивысшим.

Так что если кому-то не удавалось занять место, например, техника по учету, то это вполне могло свидетельствовать о некоем неизвестном пока предназначении данного товарища. И, значит, стоило дальше участвовать в выборах и конкурсах.

Само собой, наиболее частыми посетителями ДК были люди молодые, те, у кого подходило время выбора жизненного пути. Молодые люди довольно изрядно загружали электронные мозги, подыскивая себе самый рациональный из всех рациональных вариантов. И случалось, что для кого-то участие в конкурсах незаметно становилось самоцелью. Такие начинали проигрывать во Дворце Компьютеров изрядные суммы, ведь заведения были хозрасчетными.

Таких молодых людей приходилось выявлять, брать на спецучет, как-то помогать им определиться в жизни, избавиться от болезненного влечения к компьютеру. В любом деле без подобных издержек не обходится.

Что же касается зрелых граждан, то, во-первых, время от времени у них возникало желание переменить занятие, во-вторых, чаще всего они ходили во Дворцы просто проветриться, развеяться, принять, допустим, участие в шуточном конкурсе на самого лысого или самого тучного человека планеты. Заведения же были оснащены всем необходимым и для дела, и для отдыха: залами заседаний, барами, просторными холлами и уютными кабинетами, танцевальными, видео- и секс-залами.

5

Первые ракеты к звездам ушли населенные автоматами и роботами. Ушли и канули в вечность. И было бы абсолютным безумием отправлять в них людей: полеты рассчитывались на долгие столетия. Конечно, были предложения строить гигантские корабли, чтобы в них могли обитать сотни человек, размножаться там, учиться, работать, словом, жить. Чтобы смогли достичь цели отдаленные потомки тех, кто взойдет на корабль на Земле.

Но эти предложения больше напоминали какую-то очень веселую фантастику, даже, скорей, трагическую фантастику, чем что-то конструктивное и реалистическое. И, кроме того, нетрудно было посчитать, каким оказался бы взлетный вес такого сказочного звездолета.

А тут как раз начали строить биоприставки к компьютерам. Сперва маленькие коробочки, потребляющие уйму энергии и воспроизводящие лабораторную мышь, потом большие ящики, в которые помещался взрослый человек.

Нашлись добровольцы, — и тоже компьютеры подбирали наиболее подходящих и достойных среди многих миллиардов, — которые стали первыми образцами для испытания биоприставок на человеке. Добровольцы входили в специальные кабины, там у них с предельной точностью определялся химический состав,

структуры всякие, в общем, все-все до последних мелочей. И эти сведения фиксировались в памяти компьютеров. На чем миссия добровольцев и заканчивалась, они получали направление на работу и вид на жительство в какую-нибудь отдаленную местность. И отбывали согласно направлению.

А потом компьютеры подавали соответствующую команду, и в биоприставках начиналась очень тонкая, очень ответственная работа, какую несовершенный человеческий разум даже и представить не в силах. В результате через сутки-двое из этих белых ящиков выходили точные копии добровольцев. Копии оказывались перед фактом, что они лишь копии, но им тут же давалось какое-нибудь особо престижное распределение, и они довольно быстро обретали интерес к жизни.

Впрочем, таких копий изготовили совсем не много, ровно столько, сколько потребовалось для апробации нового оборудования, поэтому копиям удалось без труда затеряться среди обычных людей, и про них вскоре забыли. Разве что компьютеры время от времени сталкивались с ними, когда в каких-нибудь выборах им попадались два абсолютно идентичных гражданина. Но компьютеры умели хранить и свои, и чужие тайны.

С той поры ракеты уносили к звездам электронную схему человека, и там, в непостижимой дали, этот человек воспроизводился. Было задумано так, что он выполнит в бесконечности какую-нибудь программу исследования, снова введет сам себя в электронную память и таким способом вернется на Землю полным новых впечатлений.

Так во Дворцах Компьютеров появились новые конкурсы для молодежи. Каждое воскресенье разыгрывалась новая планета, планеты были разными, соответственно разными по престижности получались и конкурсы.

Каждый надеялся попасть на какую-нибудь благоустроенную планету, а еще лучше — цивилизованную. Каждый представлял, как это будет, когда он синтезируется на некой отдаленной орбите и увидит, что остальную часть жизни ему придется провести в стальном бункере на дикой безвоздушной и безводной планете — или же наоборот, в приятном высокообразованном обществе. Ощутимая разница, хотя и то, и другое по-своему.

Конечно, на первых порах нашлись и недовольные тем, как используются биоприставки. Кому-то показалась незачинной сама идея подобного размножения людей. Звучали требования прекратить посылать юных граждан в черт-те какую даль ради сомнительных научных перспектив, звучали категорические предложения использовать великое изобретение лишь для сохранения редких видов животных и более ни для чего.

Пришлось даже провести всеобщий референдум по этому вопросу. И когда компьютеры определили итоги свободного волеизъявления, то выяснилось, что консерваторы остались в меньшинстве.

Так и повелось. Каждую неделю происходил старт. Очередной звездный странник исчезал в черноте космоса, и о нем мгновенно забывали. Все стало настолько привычным, что даже тот, чья схема отправлялась в бесконечность, уже в ближайшее воскресенье мог снова прийти в ДК и принять участие в очередном конкурсе, ибо от него в результате снятия копии ничего не убавлялось, а возможное количество копий — беспредельно.

Но это — теоретически. А практически — победа даже в одном конкурсе была столь же невероятной, как и выигрывать в лотерею, вытесненную компьютерными играми.

Однако в газетах нет-нет да сообщалось о счастли-

ливицах, получивших возможность побывать не на одной планете, а на двух, даже на трех! Такие сообщения еще более подогревали интерес конкурсантов.

6

В то воскресенье выборов никаких в ДК не было, а были только не самые престижные конкурсы на вакантные должности, да разыгрывалась, как мы уже знаем, путевка на Понтей из системы Гаммы Лебеда.

Что из себя представлял этот самый Понтей, никто на Земле не знал, это должен был выяснить тот, кто победит в конкурсе. Пока лишь вычислили математическим путем, что у Гаммы Лебеда должны быть планеты — две ли, три ли штуки. А насчет «земного типа» и прочего, надо понимать, говорилось сугубо предположительно.

До Понтея простиралась космическая бездна в двести световых лет, которую атомный звездолет той эпохи мог преодолеть где-то лет за двести пятьдесят. Да обратный путь — столько же. Итого — пятьсот. Ну, и пять-восемь годков — на исследования. Их можно даже и не брать в расчет из-за относительной малости. Хотя для самого исследователя, которому предстояло возвращение на Землю, наоборот, именно эти годы и имели главный смысл, поскольку остальное время надлежало ему не жить, а существовать в виде схемы.

...Очередь на компьютерное испытание начиналась за несколько кварталов от Дворца, и некоторые, особенно сильно желавшие получить счастливый билет, занимали позицию с вечера. Но Одиссею и его приятелям было всего по семнадцать, нужда спешить куда бы то ни было еще не подошла. Для них, собственно, в этих конкурсах главным был не результат, а сам процесс игры. Поэтому ребята явились на конкурс, когда возле ДК уже гудела изрядная толпа.

Они приходили всегда большой компанией, и парни, и девушки, так что стояние в очереди оказывалось для них делом не очень скучным. Ведь здесь ребята узнавали самые важные, самые последние новости, здесь заключались пари, заводились приятные или полезные знакомства.

Очередь быстро подвигалась. Обычно так выходило, что, когда родители Одиссея появлялись во Дворце Компьютеров и начинали раскланиваться со знакомыми, прикидывая, какому бы воскресному развлечению посвятить день на сей раз, в какую неприступную веселящуюся компанию влиться или же предпочесть уединение в отдельном кабинетике, в этот самый момент Одиссей обычно уже успевал пройти экспресс-обследование.

Вот и описываемое утро ничем поначалу не отличалось от многих предшествующих.

— Халигуловы зовут, присоединимся? — полубо-просительно, полуутвердительно обратилась Одиссеева мама к своему мужу.

А Халигуловы призывно махали руками, перевесившись через перильца Первого Компьютерного Бельэтажа.

Одиссеев папа лишь молча пожал плечами, дескать, мне все равно, поступай, как считаешь нужным, и приветственно улыбнулся дружественной паре, слегка пошевелив пальцами поднятой вверх руки. Мол, видим вас, не орите.

— А где, интересно, наш сын, — спросил он несколько рассеянно, — ты его не видишь?

Родители пошарили глазами по толпе да и забыли, кого им там хотелось высмотреть, забыли, потому что Халигуловы продолжали настойчиво звать их к себе.

Среднее поколение этой эпохи считало главным человеческим качеством неизменную жизнерадостность, оптимизм, благополучие. И неперенные улыбки людей среднего поколения означали, что все у них

идет отлично, а если у кого-то в какой-то момент что-то оказывалось неотличным, то это надлежало изо всех сил скрывать, как нечто крайне постыдное.

И было, конечно, очень кстати, что медицина к тому моменту освоила прогрессивную методику выращивания у человека во рту новых зубов взамен приходящих в негодность.

7

А Одиссей миновал кабинку, дождался, пока выйдут наружу все его друзья и подружки, и они, хохоча и гомоня, отправились развлекаться дальше, ждать итогов конкурса, которые объявлялись поздним вечером — после красочного старта очередного звездолета.

Ребята отошли в сторонку, выгребли из карманов небогатую наличность, соединили ее в общий котел, посчитали, и выяснилось, что денег, как всегда, мало, но вполне достаточно, чтобы каждому купить по бутылке квасоколы, по пирожному и снять на час-полтора секс-зал.

Все обрадовались такому итогу, загомонили и направились на верхний этаж Дворца Компьютеров, где находился секс-зал со стеклянным куполообразным потолком, через который по ночам протекал свет звезд, а когда на улице шел дождь, дождевые капли дробились о невидимое стекло, водяные осколки объединялись в ручейки и текли, словно слезы по гигант-



скому глазу, горестно заглядывающему в самого себя, дескать, что это творится там, у меня внутри?..

У ребят никогда не набиралось денег на отдельные секс-кабинки, да они и считали уединение устаревшей ханжеской причудой, им веселей было заниматься любовью в большой компании, когда можно сразу же поделиться впечатлениями, иногда — а что? — попросить совета.

Все молодые люди, конечно, давно знали друг друга, но все равно, прежде чем улечься на гравитационные кушетки, предъявляли друг другу синие электронные удостоверения. Таков был ритуал, и, одновременно, строгий закон, который требовалось неукоснительно блюсти.

Синие удостоверения имели идеально здоровые люди первой категории, красные — идеально здоровые люди второй категории. Вторые отличались от первых лишь тем, что носили в себе неистребимый вирус иммунодефицита, последний на безвирусной планете. А раз последний, то он и не имел никакого значения, и строгости существовали, пожалуй, лишь для профформы. Очень уж человечеству хотелось добиться абсолютной безвирусности.

В сущности, ограничение для людей второй категории было лишь одно — их не допускали к исследованию иных миров, поскольку в иных мирах, конечно, не могло быть такой стерильности, как на Земле. И потому среди друзей и подружек Одиссея не было ни одного носителя вируса, все они мечтали о космических приключениях.

Они мечтали, но ждать, пока мечта воплотится в реальность, было трудно, и хотелось как-то скрасить это ожидание. Вот молодежь и развлекалась, как развлекается молодежь во всякие времена. Так ли уж существенно разнится в развлечениях и утехах разных эпох?..

— Палестинка, — непринужденно обратился Одиссей к одной рыженькой, — а чего это мы с тобой так давно ни о чем не беседуем лежа?!

— Действительно! — поддержала мысль рыженькая.

И они взялись за руки, чтобы все остальные видели, кто кем на сегодня занят. Впрочем, все остальные тоже быстренько разобрались по парам, так что, когда было уплачено за эксплуатацию секс-зала, за квасоколу и пирожное, уже никому ни о чем договариваться не требовалось.

А солнце сияло вовсю, в зале было так светло, что с привычки хотелось зажмуриться, но жары не чувствовалось, и ребята даже обрадовались, что удастся заодно еще и позагорать немножко, ведь купол зала был изготовлен из особого стекла, хорошо пропускающего ультрафиолетовое излучение.

Так дети и резвились все два часа, а именно на столько хватило у них капиталов, занимались любовью, а во время передышек переговаривались о том о сем, мечтали вслух о победе в конкурсе, обсуждали некоторые жгучие научные проблемы своей современности.

Незаметно пролетели эти два часа — в разговорах, в шутках, в любовной игре, но без ухарства, без необузданности, без испытаний на выносливость, ибо «яппи» на то и «яппи», чтобы смолоду думать всерьез о собственном здоровье, распределять его на всю жизненную перспективу по возможности равномерно.

Два часа пролетели, о чем извещал сердитый стук в дверь. Это стучала следующая группа.

Ребята неохотно поднимались с гравитационных кушеток, но все-таки поднимались достаточно энергично, ибо отлично сознавали, что любую утеху лучше заканчивать с чувством некоторой неудовлетворенности, чем с чувством пресыщенности или крайнего утомления.

А потом у них были другие занятия, менее энергоемкие, но, вероятно, более интеллектуальные, более, может быть, духовные. Смотрели стерео и голограммовидики, упражнялись на игральном автомате в меткости стрельбы крылатыми ракетами, в быстроте реакции. Но все эти занятия были лишь простым убийством времени ради главного, происходившего вечером, после захода солнца.

А после захода солнца, как уже было сказано, происходил красочный запуск очередного звездолета с человеческой схемой в памяти бортового компьютера, затем объявлялись итоги конкурсов и выборов, состоявшихся в течение дня.

Естественно, если человек выигрывал ответственный пост в тайном департаменте, то это не афишировалось. Если побеждал в состязании вокруг вакантной должности некоего конторщика, то об этом тоже не громыхали репродукторы.

Но итоги выборов политических лидеров, как и итоги космических конкурсов, были, конечно, самыми важными и волнующими для всех. Их ждали с замеревшими сердцами.

Так и прогремело в тот вечер над планетой многократно эхо: «Одиссей! Эй! Эй! Эй!..»

Он, бедняга, и не поверил сразу своему счастью, стал оглядываться по сторонам растерянно-счастливо, ища подтверждения в глазах товарищей.

А товарищи загалдели разом, они еще не умели всерьез завидовать чужим удачам, накинулись на Одиссея, стали хлопать его по плечам, по спине, по голове тоже, но не так сильно. А потом езялись подбрасывать счастливого вверх, словно хотели сразу сообщить ему необходимое ускорение, то есть начали его «качать» — был в те времена такой странный способ выражения восторга, одобрения, уважения к человеку.

Тогда же и смятенные родители разыскали парня, тоже выразили ему свои чувства и увели его, слегка оглушенного случившимся, домой.

— Позвонишь? — успела робко пискнуть ему рыженькая Палестина.

А он вдруг молча провел ладонью по ее щеке и кивнул утвердительно, что было странно, поскольку в ту пору парные физические упражнения в секс-зале ничем, кроме гимнастики, не считались, не служили поводом для каких-либо отношений, мало ли с кем тогда ложились люди на гравитационную кушетку ради укрепления здоровья и развлечения, мало ли с кем танцевали люди в танцзалах...

И день иссяк. И огни погасли. И стихла всякая музыка в большом мире.

8

Скоро выяснилось, что ни Одиссей, ни его папа с мамой, ни друзья-приятели не представляли конкретно, что происходит дальше с победителями космического конкурса. Вернее, представляли, но как-то очень уж примитивно. Мол, выиграл человек престижную судьбу, и сразу получает выигрыш. Превращается в электронную схему и летит в назначенное место. В смысле: схема летит, а оригинал остается на Земле, чтобы после непродолжительного триумфа вновь заняться проживанием своей нормальной жизни.

Все стали ждать, что будет дальше. И скоро уже ни сам Одиссей, ни его родители не могли спокойно слышать от знакомых и соседей этот идиотский вопрос: «Когда?» Скоро им уже хотелось бросаться на каждого такого бестактно-легкомысленного и терзать его, и топтать... Вот до чего может довести длительная неопределенность даже очень сдержанных людей.

Странная, не правда ли, складывалась ситуация: с одной стороны — нужно было готовиться к расста-

ванию навсегда, ведь для того Одиссея, который возникнет из набора простых реактивов, это будет именно расставанием навсегда и ничем иным. С другой же стороны — ничего подобного. Парень, вне всяких сомнений, оставался дома...

Откуда-то взялись в квартире разнообразные родственники, начиная от бабушки с дедушкой и кончая дядьями и тетками. Одиссей, дожив до нижней границы молодости, даже не слышал о наличии какой-то родни, родственные связи вообще очень ослабли к началу третьего тысячелетия, а тут за считанные дни пришлось познакомиться с целой маленькой толпой дорогих людей и в меру способностей полюбить их.

И, что не менее странно, Палестинку уже в шутку, а может, и не в шутку, называли Пенелопой...

Однако дни шли, а ничего существенного не происходило. И эта неизменность, эта неизвестность раздражали всего сильнее.

Однажды отец решил по каким-то своим каналам попытаться выяснить, как и что. Осторожненько и ненавязчиво прозондировать почву. Он вернулся домой красным и явно обескураженным, потому что где-то там, куда привели его каналы, ему велели не торопить события, не заниматься мальчишеством, а сохранять выдержку и, зачем-то, бдительность.

А когда уже стало казаться, что эта победа в космическом конкурсе просто одновременно приснилась множеству людей, Одиссея вдруг вызвали в учреждение, скромно именовавшееся «курсами усовершенствования контингента».

Учреждение успешно возглавлял добродушный лысоватый дяденька, впрочем, он был не только добродушный, но еще и страшно ученый. Так вот, он объяснил взволнованному и даже изрядно струхнувшему Одиссею, родители которого да еще Пенелопа были остановлены у входа свирепой охраной, что ничего секретного в его учреждении не было и нет, что в нем всего лишь по сжатой программе готовят будущих исследователей иных миров, дают им основные навыки общения с инопланетным разумом (словно кто-то уже общался), натаскивают по космической биологии, медицине и основам научного коммунизма.

Из учреждения Одиссей вышел навстречу встревоженным родственникам с непроницаемым, невозмутимым лицом. Он поведал все то, что услышал и запомнил с первого раза, а уж потом разулыбался во весь рот, как обыкновенный благополучный молодой человек, каковым он, в сущности, и был.

Все быстро вернулись в свое естественное душевное состояние: на следующий день Одиссею предстояло начать занятия, а это уже было явлением привычным и понятным. Как положено, после общего образования начиналось специальное, о чем можно было догадываться с самого начала, но так уж устроен человек, что о наиболее простом ему иногда бывает всего сложнее догадаться.

Конечно, еще где-то впереди маячил венчающий все переживания звездный старт, но о нем думалось, как о чем-то послезавтрашнем.

9

Нет ничего странного в том, что учился Одиссей на «курсах усовершенствования контингента» очень усердно, занятий никогда не пропускал, даже всякие факультативные лекции посещал аккуратно и все, что там говорилось, подробно записывал.

Целыми днями теперь пропадал Одиссей на занятиях. Курсы были сравнительно с другими видами учебы делом краткосрочным, но на них давалось полное высшее образование, и, стало быть, нагрузка на плечи курсантов ложилась весьма повышенная. Парню

даже некогда стало встречаться с друзьями, бывать в ДК, разве что редко-редко.

И если эта возможность выпадала, то входил Одиссей в кабинку компьютера уже не так, как раньше, уже не сжималось и не замирало тревожно сердце в долгие миги экспресс-анализа. Не то, чтобы не интересовали Одиссея результаты, а просто не мог он с прежним трепетом относиться к этому делу, заняты были его эмоциональные и интеллектуальные емкости учебой на курсах и только ею.

Учился Одиссей, само собой, отлично. Учителя прямо-таки не могли им нахвалиться, ставили его всем в пример, и даже как-то администрация курсов послала родителям специальную открытку с благодарностью за образцовое воспитание, тем самым еще укрепив материну веру в действенность мускулистой нотации.

А чего только ни читалось на курсах, помимо уже перечисленного! Это и космическая навигация, и компьютерная техника, и космическая геология, и культурология гипотетических цивилизаций, и футурология фундаментальных и прикладных наук, и испарт, и теология, и этика семейных отношений при полигамии. Лекции шли по восьмидесяти наукам и дисциплинам!

Так пролетели четыре года. Одиссей закончил курс успешно, получил диплом красного цвета, чем наполнил родителей неизбывной до конца жизни гордостью, и они сочли свой родительский долг исполненным даже с перевыполнением.

А еще во время последних каникул Одиссей успел жениться на рыженькой Палестине, окончательно и официально переименовавшейся к тому моменту в Пенелопу, ибо какая вообще может быть связь между Одиссеем и Палестиной, уж точно — мезальянс. И вдвоем они успели к моменту окончания курсов произвести на белый свет девчонок-двойняшек, Юдифь и Машутку.

И все это поразительно лишь на первый взгляд, потому что многое успевает тот, кто хочет успеть многое, потому что Одиссей, хотя и должен был в скором времени стать космическим отшельником, одновременно оставался на Земле, из чего происходили серьезные последствия.

10

И вот долгожданный день наступил. Опять все было, как и четыре года назад — с той, конечно, разницей, которую востребовало время. То есть с утра пришли во Дворец Компьютеров приятели Одиссея, правда, не все. Пенелопа оставила детей под присмотр специального служителя и находилась при муже его тенью, что выглядело пусть и не отвечающим духу времени, зато трогательным.

Всего-то минуло четыре года, никто из участников ритуала не постарел, однако ежевоскресные конкурсы ни для кого не прошли даром. Некоторые ребята теперь тоже учились на «курсах усовершенствования контингента», один даже, сам того не ожидая, прошел на выборах в какой-то высокий департамент. А некоторые изменили мечте, устали ждать удачи и победили в других конкурсах, где, собственно, желающих победить кроме них и вовсе не было...

И опять молодые люди хохотали и гомонили в длинной очереди, опять пили квасоколу и ели мороженое, выполняли в секс-зале парные гимнастические упражнения, ну, может быть, чуть-чуть не так энергично, как четыре года назад.

Спустился вечер, и тогда вдруг все, кто пришел проводить Одиссея в дальний, опасный и, может быть, невозвратный путь, одновременно ощутили острый приступ какого-то щемящего чувства, хотя в эпоху даже дрогнувший голос считался проявлением постыдной

слабости. Особенно сильным это чувство оказалось у Пенелопы. Однако она, закусив губы, проявляла стойкость и шутила из последних сил.

На космодроме было светлым-светло от газосветных трубок. Народ толпился нетерпеливо, но дисциплинированно, а группа родных и друзей исследователя стояла особняком от остальной толпы.

Одиссей поднялся по трапу; люк черным провалом уже был растворен перед ним, остановился на самом веру, где находилась специальная площадка. Он и так был очень бледен, а в лучах искусственного света эта бледность казалась трагичной. Понятно, что массовое мероприятие и рассчитывалось на специальный психологический эффект, и вся окружающая обстановка работала на достижение требуемого эффекта. Но ведь расставание-то было в значительной степени лишь символическим, вот в чем штука! Как же так получалось, что толпа людей замирала в чуждый момент без всякой команды, без видимого режиссера?!

Одиссей поднялся и бесплотной тенью остановился на пороге вечности. Он догадался, что установившаяся тишина требует от него каких-то слов, именно догадался, поскольку все виденное им на космодроме раньше, когда он был рядовым зрителем, мгновенно куда-то выпало из головы.

— Прощайте! — сказал Одиссей. — Отбываю вот. Улетаю во имя прогресса и процветания родной Земли и заверяю всех, что выполню задание Родины с честью!.. Не уроню, клянусь высоко нести!..

Он кинул последний взгляд, полный тоски, Пенелопе, — она ответила ему не менее сильным взглядом, — и скрылся в люке. Стало гораздо уютнее и спокойнее, чем было снаружи, на виду у тысяч людей. Странный спектакль, смесь реальных чувств и игры, для Одиссея закончился.

«Зачем все это? — подумалось в который уж раз. — Кому это нужно?»

И тут Одиссей вдруг понял то, чего не понимал раньше. Ему это нужно! Для него тысячи добровольных актеров, в том числе и он сам, сыграли этот спектакль на пределе достижимого мастерства и достоверности! Чтобы, когда он через столетия образуется в непостижимой дали, ему все это вспомнилось, будто только что произошло.

Не мешкая ни секунды, как учили на курсах, Одиссей натянул скафандр, потому что именно в скафандре ему предстояло потом материализоваться, и вошел в биоприставку бортового компьютера. Мгновение — и вездесущие датчики опутали Одиссея своими проводами, прилипли, присосались к нему в разных местах, сквозь герметичный скафандр записывая его физико-химические параметры, переводя их на машинный язык.

А через минуту-две уже все кончилось, датчики вновь отлипли и спрятались в своих гнездах. «Как же я, однако, прост для компьютерной памяти!» — усмехнулся про себя Одиссей, и вдруг ему стало жутко. Ему показалось, что он — уже совсем не он, а она, то есть его точная копия, которая сейчас покинет биоприставку, — и окажется, что уже минуло двести пятьдесят лет...

Одиссею стало так жутко, что он не мог больше прислушиваться к своей разыгрывающейся фантазии, кинулся вон из страшного ящика. И ужас сразу улетучился. В иллюминаторе был виден знакомый космодром.

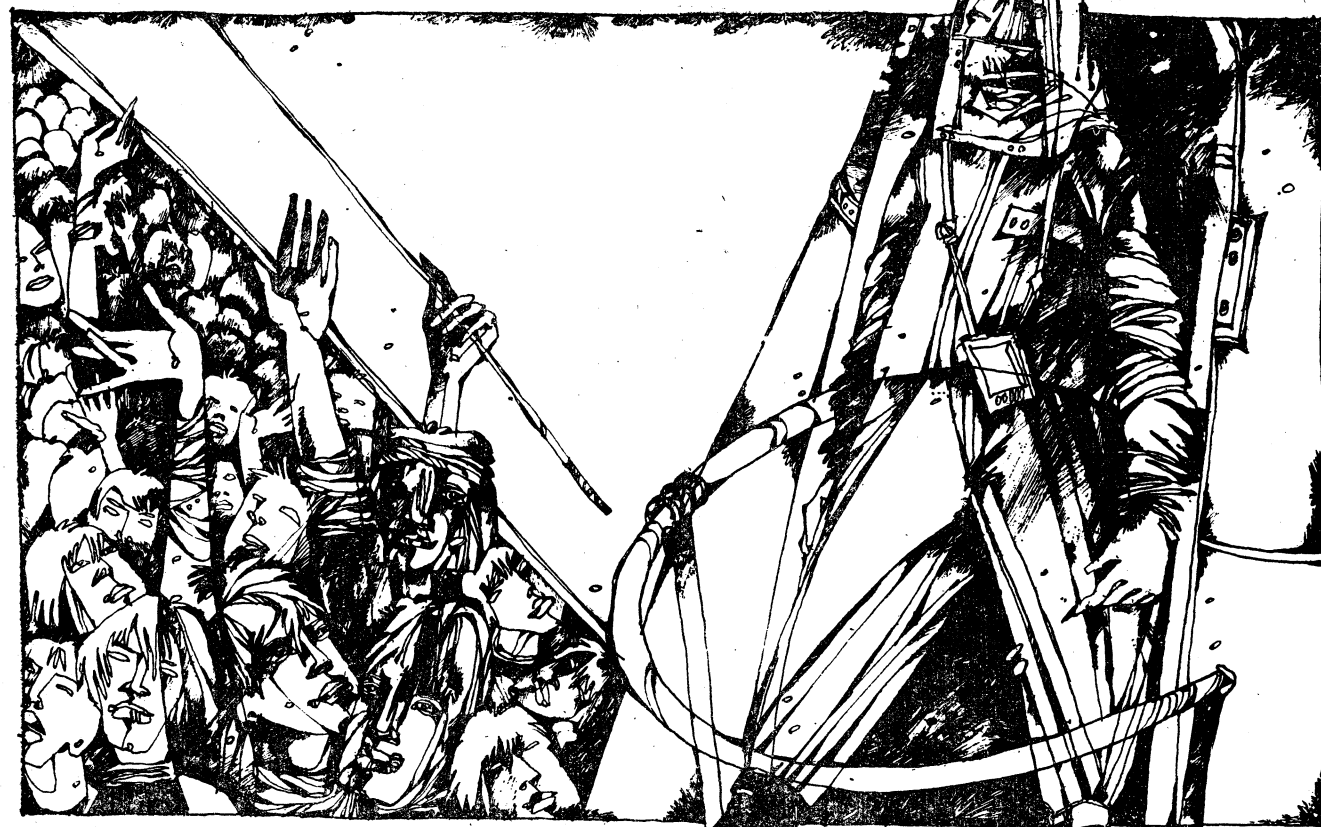
Одиссей покинул корабль через другой люк, не парадный, а тот, что находился на теневой стороне звездолета, где даже трап не стоял, а болталась для спуска веревочная лестница. Запасной выход был устроен так, чтобы ставший ненужным человек мог покинуть корабль незамеченным, чтобы он не испор-

тил людям торжества высокого и скорбного одновременно.

И хотя люди, конечно, так или иначе знали, что человек, которого они искренне провожали в бесконечность, на самом деле вовсе никуда не улетает и горькая трагичность его судьбы во многом условна, но они так вживались в предлагаемые правила игры, что наверняка были бы очень обижены, если бы сами организаторы вдруг нарушили придуманные ими правила...

Одиссей тихонько спустился вниз. Там, в полумраке, его уже ждали двое служителей в темных, облегающих одеждах. Они были молчаливы, как палачи, Одиссей тоже не счел нужным вступить с ними в раз-

гов, он отдал им ненужный теперь серебристый скафандр, при свете карманного фонарика поставил роспись в какой-то ведомости, даже не обратив внимания на обозначенные в графе цифры, еще за что-то расписался, и его, наконец, проводили за железный забор, опоясывающий стартовую площадку, закрыли калитку и оставили там одного, посреди деревьев и пешеходных дорожек, крытых старым расстрескавшимся асфальтом.



гов, он отдал им ненужный теперь серебристый скафандр, при свете карманного фонарика поставил роспись в какой-то ведомости, даже не обратив внимания на обозначенные в графе цифры, еще за что-то расписался, и его, наконец, проводили за железный забор, опоясывающий стартовую площадку, закрыли калитку и оставили там одного, посреди деревьев и пешеходных дорожек, крытых старым расстрескавшимся асфальтом.

В этот момент погас на космодроме свет, тьма за забором сделалась полной, загрохотал в отдалении громкоговоритель, донося до Одиссея обратный счет. А едва умолк громкоговоритель, как народился, словно в глуби земной, низкочастотный гул, который стал нарастать, нарастать и скоро неизмеримо превзошел все нормальные звуки мира. Но всем, кто пожелал наблюдать грандиозное явление, были заблаговременно выданы специальные наушники, и теперь люди их поспешно натягивали, не столько из-за боязни по-

терять слух, сколько от чисто животного ужаса, вызываемого любым звуком, превышающим известное число децибел.

Надел наушники и Одиссей, а заодно и светофильтры на глаза опустил, потому что маячивший между деревьями силуэт звездоплана начал окутываться белым свечением нестерпимой, солнечной яркости. Это атомный огонь разгорелся под кораблем и внутри корабля, поднимая радиоактивную пыль к небу, озаряя затаивший дыхание мир заревом Апокалипсиса.

Громада корабля качнулась, начала очень медленно приподниматься над землей, огненный язык натянулся, будто не отталкивал, а наоборот, привязывал судно к планете, и порвался в самом тонком месте, и обрывок этот еще долго-долго красной тряпкой болтался на хвосте прошивающего черного небо звездолета. Минут, наверное, семь-восемь.

«Я улетел!» — сказал Одиссей сам себе мысленно и действительно почувствовал какую-то непривычную пустоту в груди, словно там и впрямь что-то убыло.

Впрочем, это ощущение внезапно мелькнуло и прошло, исчезло. Однако оно потом еще много-много раз посещало Одиссея, оно, собственно говоря, об-

разговаривалось всякий раз, когда он задумывался о своем двойнике, с которым и встретиться-то не суждено никогда, а вот поди ж ты...

11

Одиссей, пробираясь асфальтовыми дорожками, которые давно не ремонтировались, спотыкаясь о корни огромных деревьев, все-таки скоро обогнул железный забор по дуге и выбрался на смотровую площадку космодрома, откуда совсем недавно, а будто бы давным-давно поднялся по трапу в звездолет.

Праздник состоялся, никаких происшествий не произошло, нештатных ситуаций не возникло, и теперь Одиссей вновь мог присоединиться к своей компании — как ни в чем не бывало, словно и не с ним она только что попрощалась навсегда, а с кем-то другим.

В общем, никто, как всегда, правил проведения мероприятия не нарушил, это и в голову никому не пришло. А по черной яме, откуда ушел вверх корабль, уже ползали дезактивирующие машины, всасывали в себя радиоактивную пыль, сгребали зараженную почву, пропускали всю эту дрянь через себя и тут же высыпали обратно, закапывали, заравнивали воронку, стелили сверху новые железобетонные плиты. Через неделю с этого самого места должен был состояться очередной старт.

Домой с космодрома возвращались все вместе нестройной гурьбой, как когда-то в юности. Родители Одиссея ушли раньше, их ждали какие-то свои встречи и радости. Другим больше не чувствовали себя благодарными Одиссею за то, что он их всех вместе собрал, они считали, что уже достаточно уделили ему внимания. Он был, как говорится, «провожен в космос по высшему разряду», так что ж еще?

И Одиссей со своей Пенелопой плелись сзади всех, на них никто не оглядывался. Притихшая Пенелопа прижималась к теплому боку мужа, а уже всю чувствовала в воздухе ночная прохлада, и он сказал вполголоса слова, которые в описываемую эпоху совсем исчезли из употребления, как нецензурные. Он сказал: «Хорошая ты у меня, Пенелопушка, спокойно с тобой, я тебя люблю...» И сконфузился, хотя никто из посторонних, конечно, не мог его слышать.

Но жена, очевидно, тонко чувствовала состояние своего Дуси, она не засмеялась, не призвала его к порядку, не потребовала подбирать выражения. Она лишь ответила едва слышно: «И я...» И больше — ничего. А он облегченно вздохнул.

С тех пор прошло очень много лет. Кому было суждено отправиться в космос, те и отправились. Их проводили тоже по высшему разряду. Компания распалась с наступлением какого-то возраста компаньонов. Ушли в небытие родители Одиссея.

И вот померла Пенелопа. Она в последние годы своей жизни, умом, что ли, повредившись, каждый день выходила за порог дома, всматривалась в даль, словно ждала кого-то. А Одиссей это страшно бесило, он кричал на жену, даже как-то ударил, а уж слово «дура» она с некоторых пор слышала от него ежедневно да еще и не по разу.

Бедняжка никак не пыталась оправдаться, никак не объясняла свое странное поведение, либо не умела обьяснять, либо не хотела, полагая, может быть, своего постаревшего Одю недостаточно понятливым...

И думается, если бы он не слишком придирался к бывшей рыженькой, а в последние года совсем сивой Пенелопе, так она бы еще несколько лет пожила на белом светике. Однако, вся беда состояла, вероятно, в том, что и сам Одиссей с возрастом все чаще и чаще задумывался о судьбе своего героического, и несчастного двойника, ждал чего-то, смеялся над своей стариковской придурью, но не имея возможности из-

бавиться от нее при помощи особого волевого усилия.

А тут еще она. Она-то кого ждала, кого зысматривала вдали?! Ей-то какого еще рожна надо было?

А ведь жили они всю жизнь, за исключением последних двух-трех лет, душа в душу. Правда, с детьми им не очень-то повезло, как впрочем и всему их поколению. Дело в том, что их поколение оказалось последним в своей эпохе, названной потом «эпохой расширенной нравственности». А потом как-то враз и для всех неожиданно наступила эпоха махрового пуританства. И ни один из футурологов не предсказал этого. И компьютеры промолчали почему-то, хотя уж они-то наверняка знали все.

И дети, девчонки-близнецы Юдифь и Машутка, когда подросли, стали откровенно презирать родителей. Особенно, почему-то, мать за юношескую распушенность и безнравственную молодость. Это за те дела, которые родители совершенно искренне считали просто физической культурой.

Дети не понимали, что нельзя судить старших по меркам нового времени, молодежь всегда узнает об этом тогда, когда перестает быть молодежью, но никак не раньше. Кто знает, может быть, именно это противоречие и двигает мировой прогресс.

Как же тяжело было Одиссею с Пенелопой, этим тишайшим и чистейшим, по меркам своего века, людям переживать столь несправедливое отношение детей, разрыв с ними!..

Впрочем, и другим было не легче. Может, из-за этого многотрадное поколение, на долю которого достался переходный период, в основном, так рано вымерло. Редко кто дотянул до семидесяти-восьмидесяти, большинство ушло в пятьдесят-шестьдесят. Хотя экологическая обстановка на планете была не в пример здоровей, чем в предыдущем веке. И приспособленность человека к тяжелым внешним условиям тогда уже сильно повысилась.

Семидесятилетие века и свое личное семидесятилетие старый Одиссей встретил в полном одиночестве. Он чувствовал недалекий конец и был в полной уверенности, что дети не явятся за его благословением, а оправдаются перед своей совестью непреодолимыми идейными разногласиями с родителем.

И однажды Одиссей понял, что единственный человек, с которым ему еще хотелось бы встретиться в жизни, это его двойник, получивший необычную, яркую, праздничную судьбу, который, напомним, все еще летел где-то в виде схемы и, стало быть, никакой судьбы пока что не имел вовсе. Еще его корабль вполне мог столкнуться с каким-нибудь метеоритом...

А тут как раз началось замораживание желающих на любой, заранее обусловленный срок. И Одиссей заморозился. Взглянул в последний раз на солнышко, на травку, на могилку своей Пенелопы да и закрыл глаза.

Его положили в такой специальный ящик, в котором поддерживалась неизменная температура анабиоза, а на крышке укрепили табличку: «Разморозить, когда вернусь с Понтея». Для служителей в этой надписи не было ничего непонятного.

12

А в это время звездный корабль мчался сквозь бездну, переваривая ее в своем атомном котле, но бездны не становилось меньше, а, наоборот, она нарастала со всех сторон.

Хотя, если забыть о Земле, ничтожной пылинке Вселенной, то все было не так уж грустно. Космическое судно двигалось от окраины к центру галактики, с каждым световым годом становилось светлее и как бы веселее, близкие звезды маячили за стеклом иллюминатора, такие с виду приветливые и домашние,

такие свойские, словно окна квартир, откуда близкие родственники машут руками и подмигивают.

Именно к этим мирам отправились с Земли самые первые исследователи, они улетели несколькими годами раньше Одиссея, и теперь вовсю работали на планетах назначения, если, конечно, таковые оказались в предсказанных на Земле местах, собирали материал, и, может быть, кое-кто, успешно выполнив программу, уже возвращался домой, закодированный в биоприставке вместе со своими новыми знаниями.

Но еще немало лет должно было пройти на Земле, пока вернутся самые первые исследователи и сообщат, что в центре галактики много любопытного, но планет там всегда лишь единицы, а жизни, тем более разума, и вообще нет. Только звезды кругом — двойные, тройные, четверные...

И придется человечеству сделать невеселый вывод, что сияющий мириадами звезд галактический центр — вовсе не средоточие вселенского разума, а лишь безжизненный фонарь мироздания.

Корабль миновал звездное скопление, не меняя скорости и курса, скопление было все же не настолько плотным, чтобы стоило опасаться нечаянного столкновения с чужим миром, напротив, вероятность попадания даже в поле притяжения какого-нибудь светила, увеличившись на несколько порядков, продолжала оставаться ничтожной. Хотя, само собой, бортовой компьютер и все подчиненные ему приборы находились в состоянии повышенной готовности, пока светящийся сгусток не остался далеко за кормой.

А еще компьютер вступал в радиосвязь с компьютерами других кораблей, ушедших с Земли раньше, вступал в радиосвязь с исследователями, уже закончившими программу и жившими теперь в ожидании своего естественного конца, принимал и передавал информацию всякого рода, как представляющую жгучий интерес, так и никакого интереса не представляющую.

А Одиссея в это время просто не существовало в природе, что очень огорчало звездных отшельников, голоса которых звучали в радиорубке без надежды быть услышанными живым человеком.

Миновав звездное скопление, корабль снова оказался в открытом космосе, где звезд было мало, и голоса в радиорубке стали звучать реже, а потом и совсем установилась тишина, лишь пощелкивали всякие реле, шелестели перфокарты и магнитные ленты, гудели трансформаторы.

В общем, полет проходил без происшествий, аварий, нештатных ситуаций, и правильно, что всю дорогу Одиссей фактически отсутствовал на судне, а то бы не раз и не два за двести пятьдесят лет можно было от дикого однообразия и скуки сойти с ума, даже имея задатки к столь фантастическому долголетию.

Но все кончается даже в необъятной Вселенной. В точно назначенный момент включились тормозные двигатели, сперва на небольшую тягу, потом на среднюю, звездолет стал терять скорость, и тут его подхватило притяжение той самой Гаммы Лебеда. Впрочем, от Лебеда давно уже не осталось и признаков, в этом районе пространства другие созвездия волновали гипотетических влюбленных, еще более причудливые, чем те, что можно было наблюдать с Земли.

Корабль сделался спутником Гаммы, а потом, гася скорость, стал скользить с высокой орбиты на более низкую, пока не поравнялся с одной из планет. Видимо, это и был Понтей, собственной персоной, так что даже самые отчаянные прогнозы изредка сбываются в точности. Это, кстати, важнейшее свойство прогнозов вообще. Если бы такого свойства не было, то институт всевозможных предсказателей и ясновидцев, по-видимому, не смог бы зародиться в принципе. Нигде и никогда.

Некоторое время корабль и планета словно играли в догонялки на орбите, вокруг здешнего солнца, пока, наконец, не сблизились достаточно, чтобы упасть в объятия друг другу. И они упали абсолютно взаимно, но с учетом разницы масс. Компьютер рассчитал стационарную орбиту, и корабль тихоходно на нее перебрался, после чего тормозные двигатели остановились, перешли на режим продувки перед решающими делами.

И тотчас шелкнуло самое наглавное реле. Загудела, зажурчала биоприставка бортового компьютера, из электронной памяти извлеклась схема Одиссея, вложилась, куда следует, и скоро в стеклянных трубках заструился физиологический раствор, синтетическая, но неотличимая от настоящей, кровь, прочие жизненные жидкости.

Один только компьютер и знал, как совершается в его приставке великое таинство, так до конца и не разгаданное человеком, он один ведал, что лучше, — строить сразу взрослого человека, монтируя его скелет, а потом оклеивая скелет тканями, а потом помещая в черепную коробку приготовленный в отдельной кастрюльке мозг, или синтезировать яйцеклетку, оплодотворять ее тоже синтетическим сперматозоидом и выращивать большого Одиссея по ускоренному циклу, закладывая в нужные моменты в нужные места нужный опыт, знания и умения.

Какая разница, тем или иным путем он шел, важен ведь результат! А результат превзошел всякие ожидания. Новый Одиссей был просто великолепен, намного лучше прежнего, во всяком случае, если бы его положить рядом с тем, лежащим в холодильном шкафу, то всякий бы сразу сказал, что из такого симпатичного юноши с умными глазами никак не может получиться такой противный старикашка. Вот что делает с нами жизнь.

Наконец, священнодействие завершилось. Все приборы показывали норму, Одиссей уже должен был вполне осознать себя и выйти из биоприставки, но он почему-то мешкал. И тогда компьютер, наверное, чтобы слегка взбодрить, тихоходно стукнул его током.

Он не понял, что Одиссей просто слегка ужаснулся, представив, как выйдет он из биоприставки и окажется не оригиналом, а лишь копией со всеми вытекающими из данного факта последствиями. Видимо, не все компьютер мог в человеке понимать, некоторые ускользающие тонкости до него не доходили или же не казались ему достойными внимания, как, например, не кажутся некоему мужчине достойными внимания некие женские переживания, а, точнее сказать, бабы.

13

А Одиссей и впрямь содрогнулся от внезапного предчувствия, слегка замешкался, уже взявшись за ручку, мгновенно вспотел, но психологическая бездна, развершаясь перед ним, оказалась столь глубокой, что разумней всего было перепрыгнуть ее с ходу. Что Одиссей и сделал, а удар током вольт так на триста вдгонку оказался сопутствующим. Так что бедняга выскочил из ящика биоприставки пулей, что, конечно, было полезным для всех его систем, они сразу активно зафункционалировались, вошли в хороший режим, притираясь друг к другу и обкатываясь.

Одиссей кинулся к иллюминатору, прильнул к холодной толще стекла, и его сердце чуть не остановилось. За стеклом темнел и сверкал бесконечный космос, и вряд ли стоило так выворачивать тело, пытаясь увидеть открытое, пределами иллюминатора. Земли не было нигде.

Но Одиссей еще на что-то надеялся, искал знакомые созвездия, словно начисто забыл, зачем нахо-

дится в этом стальном сосуде гарантированной укупорки. Тут, как он позже понял, содержалась явная недоработка психологов, готовивших его в полет.

В общем, некоторое время он был, что называется, не в себе, то ли пел, то ли плакал, вполне вероятно, занимался и тем и другим одновременно. Однако постепенно Одиссей успокоился.

«Ну что теперь делать? — размышлял, восстанавливая душевное равновесие, Одиссей, — теперь ничего не поделаешь. Сам напросился, сам с детства мечтал. Никто не гнал, дурака. И вот мечта окончательно сбылась. Улетел черт-те куда, кретин.

И там на Земле, я уже так давно состарился и умер, что даже косточек не найти... Или найти, если поискать? Интересно, сколько лет кости в земле разлагаются?..

И Палестинка моя умерла, и даже детки, Машутка да Юдифь! И-э-эх!.. Вернусь, а там меня встретят какие-нибудь пра-пра... И-э-эх!..

Нет, надо успокоиться. Так никуда не годится. Надо выполнять программу, время незаметно пролетит, если работать день и ночь, и назад».

Вот так провел Одиссей этот аутотренинг, выспался, умылся холодной водой, наплескав в скафандр. Пришлось раздеваться и скафандр сшить. Тогда Одиссей взял да и принял душ, гулять, так гулять. Покушал плотно. И стал совсем бодрым. Только икал еще некоторое время. В общем, пришел в форму. Все-таки не зря возились с ним на Земле специалисты, в том числе и психологи. Не зря, хотя и недостаточно.

А телескоп уже был направлен в сторону висящего совсем рядом Понтея, на котором даже невооруженным глазом различались некоторые детали. Различались облака, за ними — моря, материки. Такая картина очень обнадеживала, но она же и пугала, было боязно заглянуть в окуляр, который мог разочаровать новоявленного Робинзона отрезвляющими подробностями.

Поэтому исследователь не стал торопиться с телескопом. Он решил начать изучение планеты с помощью комплекта космических зондов.

Не сказать, чтоб на пилотском пульте было много кнопок и рычагов. Скорее, наоборот, кнопок на пульте имелось всего несколько, а рычагов совсем ни одного не наблюдалось. Это понятно, управлял звездолетом компьютер, и вмешательства человека не требовалось. Но вместе с тем, должен же был находиться в одиночестве человек хоть чуть-чуть ощущать себя командиром своего положения! В этом-то, в основном, и заключалось назначение кнопок.

Итак, Одиссей приблизился к пилотскому пульту и нажал три кнопки. В компьютере что-то зашелестело, зажурчало, и с интервалом в несколько секунд в сторону Понтея ушли три маленькие ракетки. Отход каждой из них сопровождался ощутимым толчком.

И сразу стали поступать на борт данные телеметрии. Одиссей глядел на экраны дисплеев и не верил своим глазам: озоновый слой, стратосфера, тропосфера, содержание кислорода, азота, углекислоты, водяных паров... Ну, чуть больше гелия, чуть меньше аргона, а в остальном... Нет, этого не могло быть! Но это было. И уже мысль о том, что на планете может оказаться не просто жизнь, а жизнь разумная, не казалась дикой, а скорее даже наоборот.

А циферки и буквы на экране продолжали высказывать, уже не удивляя, поскольку остальное удивительное прямо вытекало из предыдущего: бактерии в воздухе, в воде, состав почвы, еще один состав почвы... Потом пошли снимки поверхности планеты с высоты двадцати километров, десяти, одного, с двух метров... Вот это да — буйные леса, альпийские луга, степи, теплый океан или несколько океанов! Ой, что

это, неужели хижина, а почему бы, собственно, и не хижина, во всяком случае весьма похоже!

И Одиссею вдруг так нестерпимо захотелось опуститься на прекрасный Понтей, так ему захотелось скинуть ненавистный скафандр, разуться и побегать босиком по дикому понтейскому лесу, по лугу, на который еще не ступала человеческая нога! А если какая-нибудь нога и ступала, то не человеческая, а чья угодно!

С трудом подавил Одиссей это желание, с большим трудом, да и то потому, что за его поведением строго следил бортовой компьютер, который все равно ничем бы не допустил каких-либо нарушений инструкций и правил поведения на чужих планетах, придуманных в изобилии земными чиновниками.

Пришлось Одиссею еще несколько суток болтаться на орбите, париться в проклятом скафандре, мучиться ночами от бессонницы. Впрочем, эмоции приходилось сдерживать изо всех сил, чтобы его состояние не показалось компьютеру болезненным, чтобы он, бесчувственный, не начал своего командира лечить, отложив, таким образом, посадку на Понтей еще на неопределенное время. А с ним такое за просто могло стать.

В общем, за несколько дней, пока продолжалось исследование чужой планеты автоматами, Одиссей извелся весь, несмотря на героическое сосредоточение воли. И спасли его от компьютерных забот записи, которыми он занялся с первого дня, чтобы, во-первых, ничего не упустить, во-вторых, скоротать время.

14

Наконец, компьютер набил свою память таким количеством разнообразных данных о Понте, какое ему требовалось, зонды, ушедшие на планету, по всей видимости, самоликвидировались, выполнив программу полностью, и цифирь на экране дисплея перестала мельтешить. Изрядно надоевший экран, наконец, погас, хотя давно мог бы это сделать, поскольку Одиссей перестал им интересоваться, а самому компьютеру наглядная агитация и вовсе не требовалась.

И вот Одиссей нажал на символическом пульте красную кнопку, подал команду «На посадку!». Он уже много раз эту кнопку нажимал, но она все никак не срабатывала, заблокированная компьютером, но теперь, значит, пришло время, и блокировка отключилась.

Корабль сразу перестал быть дрейфующей стальной болванкой, загудел как-то особенно осмысленно, возможно, ему, безмозглому, тоже не очень нравилась безраздельная власть над ним надменного ящичка с модулями, и он радовался любой видимости свободы и самостоятельности.

Одиссей поторопился сесть в кресло перед главным иллюминатором, откуда открывалась головокружильная панорама, и пристегнулся ремнями. Так он смотрелся очень солидно.

Тормозные двигатели заработали на полную мощность, и звездолет уткнулся носом в плотные слои атмосферы. Корабль стал планировать над планетой, насколько позволяли его маленькие крылышки. Он планировал все тяжелей, тяжелей, поскольку горизонтальная составляющая скорости уменьшалась, собственно, он уже почти падал, поворачиваясь кормой вниз.

А когда доворот завершился, сработало зажигание главного тягового двигателя, и максимальное замедление со страшной силой вдавило Одиссея в кресло. До поверхности планеты оставалось не более десяти километров, и корабль не мог церемониться со своим командиром.

А еще через несколько минут судно содрогнулось

от касания и замерло, только грохот двигателя не смог смолкнуть сразу, он длился еще некоторое время, ужасая первобытные окрестности, которые состояли из покрытых лесом плоскогорий, усыпанных спелыми ягодами кустарников, гладких валунов, там и сям торчащих из травы.

А Одиссей лежал в своем кресле, которое стало горизонтальным в момент последнего маневра, главный иллюминатор находился теперь сверху, и в него не было видно ничего, кроме неестественно голубого неба без единой тучки. Конечно, оно было неестественным по земным меркам, то есть, выходит, наоборот, слишком естественным. Такого незамутненного голубого колера на Земле нельзя было отыскать уже много веков.

Наконец к Одиссею вернулось зрение, на время отнятое перегрузкой, вернулись силы. Он нажал на пульте зеленую кнопку, вся рубка повернулась на девяносто градусов, то есть приняла нормальное, удобное положение, утвердив верх и низ на своих законных местах.

Отщелкнулись пряжки ремней, исчез железный привкус во рту, возник интерес к тому, что было там, «на улице». А там еще дымилась обугленная атомным огнем земля, дымилась поодаль деревья.

Специальные автоматы делали дезактивацию порченых окрестностей, они ползали по чужой планете, как ни в чем не бывало, чувствуя себя, по-видимому, неплохо, хотя трудно представить место, где этим автоматам могло быть уютно.

Увиденное за иллюминатором, кроме некоторых недочетов, Одиссею понравилось. Сидеть в герметично закупоренном звездолете становилось с каждой минутой все более бессмысленно. Надо было что-то предпринимать, начинать хотя бы готовиться к исследованиям, иначе стоило ли переться в экую даль?

Со скрежетом отдрался люк, и скрежет этот на чужой девственной планете прозвучал столь же душераздирающе, как и рев атомного зверя. Поток пылящего воздуха ворвался, наконец, в нутро звездолета.

Одиссей хлебнул этого воздуха раз-другой и почувствовал, что решимость и удаль вновь вливаются в него. Но пока этих веществ влилось недостаточно — он взялся по всему звездолету искать масленку с маслом. Насилу нашел. Тщательно смазал люк. Открыл-закрыл его раз десять. Люк стал невесомым, скрипеть прекратил совсем, в общем, сделался таким, каким и должен быть люк у хорошего хозяина.

Наконец, Одиссей решился. Он скинул вниз веревочную лестницу и, глубоко вздохнув, ступил на верхнюю ступеньку. Нет, он вовсе не по забывчивости или рассеянности продолжал оставаться в скафандре, а нарочно. Он даже захлопнул забрало, предпочел дышать химическим воздухом из баллончика на спине. «Не имею права нарушать инструкции!» — так думал исследователь, ставя вторую ногу на вторую ступеньку.

Вероятно, он поступал абсолютно правильно, так как был один на планете и не имел права рисковать судьбой всей экспедиции, вероятно, он поступал в высшей степени разумно и осмотрительно. Однако даже компьютеру, наверное, было неумоготу смотреть за ним, даже ему, наверное, хотелось вновь применить небольшой электрошок к командиру...

Одиссей ступил на траву, что зафиксировала автоматическая фотокамера. Ступил, правда, не босой ногой, а свинцовым ботинком. Но главное — свершилось! И путешественник широко улыбнулся, словно дожид до какой-то решающей победы. Ему захотелось стереть со лба обильный пот, и он решительно распахнул гермошлем. Но выполнить задуманное не

успел, так как из лесу донеслись какие-то крики, похожие на человеческие.

Через мгновение Одиссей снова был в командирской рубке. И лесенку задернул, и от дыры отошел, чтобы чем-нибудь не пульнули, не кинули. Мало ли.

15

А крики все усиливались, топот множества ног нарастал, пока, наконец, не высыпала на поляну толпа совершенно диких туземцев-понтейцев или, может быть, понтеян, вся одежда которых состояла из набедренных повязок. В руках туземцы держали самые примитивные орудия: камни, палки, возможно, копьа, возможно, дротики, но не более того.

У Одиссея прямо-таки сердце зашло от тревоги и от растерянности, и от радости одновременно. Еще бы, он ждал чего угодно, ко всему готов был, если бы туземцы выглядели как-нибудь иначе, он бы себя, наверное, даже спокойнее чувствовал, беспристрастней, что ли. Чувствовал бы себя просто исследователем в чуждом мире, ведомым жаждой познания, а больше никем.

Но то обстоятельство, что инопланетяне оказались неотличимыми от землян, здорово осложняло дело, вернее, просто меняло его, оно не сулило каких-то значительных научных откровений, не обещало чего-то абсолютно неведомого, а обещало проблемы морально-этического, возможно даже, политического свойства.

Впрочем, об этом Одиссей, конечно, не мог знать сразу, он это мог лишь сердцем почувствовать, своим теоретически подкованным сердцем.

Космический странник, украдкой наблюдая за аборигенами, даже чуть не заплакал от умиления, так они потешно себя вели, подпрыгивали, прислушивались, принохивались, издавали нечленораздельные гортанные звуки, ни дать ни взять — промежуточные существа, уже покинувшие животный мир, но еще не вступившие в мир разума.

Одиссей чуть не заплакал от избытка чувств, и его легко понять как Робинзона, пригтовившегося к скорбному одиночеству до конца своих дней и вдруг столкнувшегося сразу с таким огромным количеством потенциальных Пятниц.

А аборигены все прибывали на поляну и прибывали, и скоро их собралось вокруг звездолета несколько сот. Конечно, людей не мог не привлекать сказочный корабль, свалившийся прямо с неба, а потому кольцо туземцев сжималось все теснее, теснее, и вот уже самые смелые, самые бесшабашные стали кидать в загадочного черного зверя камни, дротики, ну, словом, то, что было для них сподручным. Впрочем, данные действия отнюдь не выглядели агрессивными, воинственными, они даже на охоту не походили, а походили на проявление обыкновенного любопытства, когда бывает немножко маловато смелости и решимости.

Однако, в конечном итоге любопытство всегда сильнее страха, оно одолевает страх рано или поздно, не считаясь с реальной опасностью. И скоро уже все аборигены, в том числе и самые маленькие, самые плюгавенькие, уже вплотную приблизились к звездолету, панибратски хлопали его по теплым бокам, а один даже прилачился к судну со своим не то каменным молотком, не то зубилом с явной целью во что бы то ни стало отбить хоть маленький кусочек незнакомого вещества.

Динь-динь-динь-динь-динь! — понеслось над окрестностями. Одиссей, конечно, понимал, что понтеянин все равно не сможет причинить вред космическому аппарату, но, тем не менее, ему очень захотелось высунуть голову в люк и выругаться. Но он

смирил свое желание, решил еще маленько понаблюдать за чуждым народом, не обнаруживая своего присутствия, понаблюдать, чтобы нечто важное выяснить. Ну, например, нет ли у понтейцев каких-нибудь более совершенных орудий для метания типа лука, духовой трубки.

Так, во взаимных наблюдениях, прошел весь день. Гамма скрылась за горизонтом, спустилась безлунная ночь, впрочем, на Понте все ночи были безлунными, что и отличало его от Земли. Стало прохладно и как-то по особому грустно. Но Одиссей решил не закрывать люк даже на ночь, хотя это и создавало определенные трудности по охране входа, решил сократить время до рассвета, не ослабляя наблюдения за окрестностями.

А аборигены разожгли большие трескучие костры вокруг звездолета, и скоро в небо на-

спустившимся с неба лишь затем, чтобы оберегать их от всяких напастей. Этот вариант вполне вписывался в рамки инструкций и наставлений, которые Одиссей изучил в изобилии на курсах. А что может быть приятней ситуации, так удачно вписывающихся в рамки?!

Так, чувствуя глубокое удовлетворение жизнью, Одиссей незаметно заснул, прикорнув возле самого люка, и ему приснился любопытный сон.

— Откуда ты? — спрашивают инопланетяне на ломаном русском языке.

— С планеты Земля! — отвечает Одиссей гордо.

— О, Земля! — уважительно и понимающе кивают



чали восходить всякие запахи не столько неприятные, сколько наоборот.

Одиссей тоже захотел кушать, но пока не сильно, и он подавил это желание. С наступлением темноты наблюдать за обстановкой стало значительно удобнее, и ему не хотелось упускать такую счастливую возможность, ибо будущее оставалось по-прежнему неясным и тревожным.

Понтейцы в конце концов уgomонились, покушав нечто, довольно аппетитно пахнущее, легли спать вповалку вокруг пылающих углями кострищ, и все поголовно уснули — и женщины, и дети, и мужчины. Даже постов не было выставлено. Это с удовлетворением отметил про себя Одиссей, сделав вывод, что местное население не только миролюбиво само по себе, но и не пугано.

Хотя просматривался еще вариант: возможно, люди считали корабль каким-то добрым божеством,

понтейцы, — о, Россия, о, Ленин! Гуд! Карашо! Мир! Дружба!

А когда Одиссей проснулся, то Гамма была уже высоко, и понтеяне явно скучали, сидя в различных позах прямо на земле. Их головы были задраны вверх, а глаза вопросительно заглядывали прямо в люк.

15

Одиссей проснулся, широко зевнул и сел, нечаянно свесив ноги прямо в дыру. Он даже на Земле так крепко и сладко не спал никогда, а потому бедняга немного забыл, где находится. И, как ни странно, вернули его к действительности не туземцы, на которых он пялил глаза, будто это не туземцы, а просто ландшафт, а шлем, который помешал прикрыть ладошкой рот после очередного зевка.

Тогда лишь Одиссей мгновенно все вспомнил,

резко вскочил на ноги да так и остался у кромки своего земного суверенитета. Уже не стало смысла прятаться, уже он все равно раскрылся, выяснив окончательно, что никаких орудий для метания туземцы не знают.

Так он и стоял несколько минут на глазах у дикарей, стоял и молчал, ворочая мозгами. Молчали и они, а их открытые, лишенные всякой растительности лица светились внимательной вежливостью.

Однако молчание начинало явно затягиваться, уже становилось неприличным маячить в проеме, набычавшись и вращая глазами. И Одиссей распахнул забрало.

— Понтеяне! — загудел он, нажимая почему-то на прононсы, словно аборигенам французский язык должен был быть гораздо понятнее русского, впрочем, сам он по-французски знал лишь «пardon» и «мерси боку», — я есть сын неба!

И, чтобы усилить эффект, Одиссей зачем-то воздел руки вверх, то ли указывая жестом, откуда прибыл, то ли подчеркивая важность своей персоны.

— В общем, я сейчас к вам сойду, похоже, вы неглупые ребята! — неожиданно для самого себя вдруг решил Одиссей.

Через мгновение он уже жалел об опрометчивости, но слово было произнесено, а сын неба обязан иметь определенные принципы. Одиссей скинул лесенку вниз и ступил на нее.

Была мысль снять скафандр, но она тут же и исчезла. Мало того, исследователь прихватил с собой автомат, оснащенный разрывными зарядами. Конечно, он отдавал себе отчет, что стрелять по гуманоидам нельзя даже в самой критической ситуации, он больше всего рассчитывал, в случае чего, на прочность скафандра, а автомат брал для пущей уверенности, для отпугивания самых назойливых...

Он спускался медленно, боясь свалиться второпях, думал, прежде чем переставить какую-нибудь ногу с одной ступеньки на другую, а спина стала мокрой не столько от физического напряжения, сколько от морального...

Недалеко уже оставалось до земли, когда Одиссей остановился в последний раз перевести дух и осмотреться. И увидел, что понтеяне все до одного собрались прямо под ним, что они тянут к нему руки, широко улыбаются, лопочут что-то доброжелательное, словно имеют намерение принять его тело в свои объятия и «качать».

Но Одиссей сразу решил, что богу, спускающемуся с небес, ни к чему объятия толпы, что божественного авторитета ему таким образом не добавится.

— Кыш! — диким голосом закричал он на понтеян, замахал на них руками, так что едва не свалился, — р-разойдись, р-раздайся!

Понтейцы послушно отпрянули, словно уже начали понимать лучший из языков...

Ну, наконец-то, они оказались лицом к лицу. Одиссей и толпа инопланетян. И в этот исторический миг лишь об одном оставалось сожалеть космическому скитальцу, лишь одно не позволяло ему безоглядно радоваться факту — уровень понтейской гигиены, который не позволял ему запросто войти в толпу, запросто обнять первого попавшегося инопланетного брата, поцеловать его троекратно.

Нет, ну как можно было брататься с этими, пусть весьма симпатичными, но дикими людьми, как можно было сразу, не изучив ситуации, жать им руки, прикасаться к ним открытыми участками тела, если неизвестно до конца, какова на планете бактериологическая обстановка!

Но было и еще одно соображение: «Я же для них существо иного порядка, верховное и всемогущее, может быть, даже нематериальное существо! Каково

же будет разочарование несчастных дикарей, если они убедятся, что я, как и они, состою из презренной плоти, что я вполне уязвим и не столь могуч, как подобает всемогущему! Нет, я просто обязан щадить чувства братьев по разуму!

Да и последствия разочарования могут оказаться всякими. И если удастся примирить народ с крушением сверхъестественного, то как потом вести его за собой по пути прогресса, по пути новых знаний, в которых он остро нуждается и которые я могу и должен ему дать?!

В общем, быстро-быстро задав себе эти восклицательные вопросы, Одиссей остановился, не дойдя нескольких шагов до толпы аборигенов, а чтобы они сами не двинулись ему навстречу, выставил перед собой ладони в защитных перчатках, словно обозначал символическую границу, которую надлежит считать непреодолимой.

Инопланетяне поняли жест правильно, опять закивали, опять заулыбались и остались стоять на месте. Только тут Одиссей почувствовал, что здорово вспотел от чисто умственной работы, хотел вытереть пот, но помешало все то же высокопрочное стекло. А еще Одиссей почувствовал усталость и зверский голод, что означало его окончательную адаптацию в новых условиях и требовало перерыва в контакте. Да ведь он и произошел, произошел довольно обыденно и буднично, так что контактировавшие стороны даже позабыли отметить исторический момент подписанием какого-нибудь совместного итогового документа.

Правда, чуть позже Одиссей сделал соответствующую запись в клеенчатой тетради, но это позже. А до этого надо было снова влезть по веревочной лестнице наверх, снова втащить лесенку за собой. Что Одиссей и проделал.

А понтеяне остались стоять внизу, очевидно, им не было понятно, почему господь так быстро покинул их. Во всяком случае, лица туземцев казались растерянными.

И тогда Одиссей пожалел свою паству, он появился в проеме снова, показал пальцем в открытый рот, похлопал себя по животу. Люди его сразу поняли, облебенно заулыбались, тоже разбрелись по планете разводить свои веселые костры.

17

«...А может, они раньше думали, что боги ничего не кушают?» — эта мысль пришла Одиссею в голову уже потом, когда он плотно покушал, запил это дело добрым глотком квасоколы и сидел в своем мягком пилотском кресле, ковыряя в зубах.

Мысль Одиссею показалась несущественной, потому что он только что потребил два сочных шашлыка, кусок бисквита, то-се и пребывал в несколько снисходительном состоянии духа, точнее, в состоянии притупленной осмотрительности и безалкогольной эйфории, кратковременно возникающей после доброго глотка квасоколы.

А потом мысли потекли одна за другой, потекли зачем-то торопливо, наталкиваясь друг на дружку и порой выбрасываясь на берег сознания из-за тесноты русла. Как быть со скафандром? Надевать его? Сохрани и помилуй! От одного воспоминания об удовольствиях, с ним связанных, уже делалось тошно. Не надевать? Опять — непредсказуемые последствия. Люди видели одного Господа, а тут тебе пожалуйста — другой! Который лучше? Который настоящий? Не-ет, теперь снять скафандр, все равно что нимб потерять! Значит, придется терпеть эту пытку. А что, на то и Бог, чтобы терпеть. Богу — Богово...

Так Одиссей застучал себя на том, что здорово вжился в образ Бога, так вжился, что совсем пере-

стал выходить из образа. Сразу и оправдание явилось насчет прогрессивного значения религии на определенном этапе.

Таким образом, уже вполне просматривалась перспектива, когда одинокий странник, тронувшись умом в неинтеллигентной компании, сам себя начнет почитать Всевышним. Это вполне возможно и не только за тридевять парсеков от Земли...

В общем, Одиссей решил не рисковать зря, еще некоторое время попариться в космической спецовке, избавляясь от нее не сразу, а очень постепенно. Сперва, например, от свинцовых бахил, потом — от резиновых штанов, потом — от куртки, и только в самую последнюю очередь — от шлемофона.

А тут компьютер, очевидно вникнув в переживания командира, самовольно выдал информацию, которую командир только еще намеревался запросить, информацию о том, что бактериологическая обстановка на Понтее хорошая. И в тот же миг снизу донесли нетерпеливые крики аборигенов.

И Одиссей вдруг неожиданно для самого себя все перерешил, проявил странное легкомыслие, мол, будь, что будет, и спустился к своим новым друзьям в сатиновых шароварах, в тапках на босу ногу, в расшитой игривым узором косоворотке, однако ружьишко свое скорострельное в последний момент все-таки прихватил. «На случай диких зверей и эксцессов», — так он это себе объяснил словами какой-то инструкции.

В общем, Одиссей сошел вниз без скафандра, но аборигены не утратили из-за этого своей почтительности и учтивости, а даже, как показалось, наоборот. Теперь народ видел, что Бог похож на каждого из них даже более, чем грезились в вековых мечтах, а это окрыляло, указывало идеал, к которому стоило стремиться. Такая мысль прямо-таки читалась в глазах народа.

— Понтеяне! — сказал Одиссей кротко, но с металлом в голосе. А что, в нем было многое от Бога, вернее, именно таким и должен был быть Бог, с развевающимися на ветру мягкими белыми волосиками, с горящими глазами, в вольных, простых одеждах, — Понтеяне! Радуйтесь, благостные! Я пришел к вам! Я пришел дать вам хлеба и питья вволю, дать вам сил и разума! Счастья пришел я вам дать! И я дам, только верьте мне, веруйте в меня, слушайте мои проповеди и соблюдайте мои заповеди! А заповеди просты: не убей, не укради, возлюби ближнего... И так далее...

Было ли чуть-чуть стыдно в этот момент Одиссею за самозванство и плагиат? Да, пожалуй что, и нет. Кто тут мог уличить его? Да никто! А многие ли способны испытывать угрызения совести, если некому, если просто в принципе некому уличать в неблаговидном?

Какое впечатление произвела первая проповедь на туземцев? Тут однозначно не ответить. Пожалуй, судя по проявленному вниманию, она показалась им небезынтересной. Но, наверняка, не очень понятной. А главное, по их обескураженным ромам было видно, что бедняги мучительно соображают, как им надлежит реагировать на услышанное. Аплодировать, свистеть, кричать «Ура!», падать ниц они еще не умели. Но чувствовали какую-то смуту. Гуманоиды же, хоть и нецивилизованные пока.

Одиссея тоже несколько смутило напряженное молчание, он тоже немного растерялся. Возможно, из-за этого и хлопнул ладонь о ладонь. Машинально. Само собой вышло.

А понтейцам будто того и надо было. Разразились такой овацией, словно всю жизнь только и митинговали стоя. Здорово смысленными оказались.

18

Прежде всего Одиссей решил дать понтеянам инструмент для общения, проще говоря, — язык. Ну, хотя бы русский. Чем плохой инструмент? И понтеяне проявили себя. Одиссей, например, показывал им какой-нибудь предмет, называл его, просил повторить. Словом, пользовался простейшей педагогической методикой. И старая методика срабатывала прекрасно.

Бывало, если на занятия выпадал час времени, так туземцы за этот час выучивали штук сто новых слов. Повторяли их на разные лады, сперва с акцентом, а потом акцент исчезал.

Урок заканчивался, понтейцы разбредались по своим делам кто куда, между делами делились знаниями с другими соплеменниками, тоже охочими до учебы.

Короче, таким способом Одиссей за какой-то месяц обучил русскому языку все понтейское человечество, что переполнило его огромной радостью и гордостью.

— Гамма! — изрекал Одиссей, указывая перстом в небо.

— Гамма! — охотно соглашались туземцы.

— Понтей! — направлял Одиссей палец вниз.

— Понтей! — не возражали понтейцы.

Конечно, этими двумя названиями дело не ограничилось, пришлось ежедневно выдумывать все новые и новые имена собственные. В конце концов года через два уже все в понтейском мире как-нибудь называлось.

Но когда Одиссей предпринял попытку окрестить хотя бы самых ближайших своих друзей и помощников, а со временем появились и такие, то попытка неожиданно натолкнулась на противодействие. Молчаливое, но упорное.

Туземцы вдруг стали такими бестолковыми, такими беспамятными, что сыну неба захотелось кое-кого побить. Но — сдержался.

— В конце концов, — сказал сын неба примирительно, — вы выучили целый язык, неужто я, сын неба, не освою несколько ваших варварских кличек?!

Не так-то легко оказалось это сделать, морфологические возможности землянина не шли ни в какое сравнение с возможностями дикаря. Но постепенно Одиссей добился довольно приличного произношения, хотя, как выяснилось много позже, ультразвуковую часть имен он постоянно проглатывал.

«Ну, — радовался Одиссей, — уж если язык они запросто изучили, то с остальным еще проще будет!» Так он себе придумал программу максимум — довести туземцев до паровой машины и помереть с чувством выполненного долга.

Только скоро о программе максимум, как и о программе минимум, пришлось забыть. Поскольку дальше языка дело не пошло, как сын неба ни бился.

Бывало, соберется вместе с понтейцами охотиться на мамонта или носорога. Звери, конечно, крупные, так что ни одна охота без жертв не обходилась. Больно смотреть.

— Давайте, — предлагает, — яму побольше вырою, ветками ее замаскируем да и заманим туда зверюгу. И все будет в соответствии с правилами техники безопасности.

И сразу словно кто подменяет понтейцев. Совсем дебильными становятся. Глаза пустеют, челюсти отвисают, даже, кажется, руки удлиняются, чуть до земли не достают. Австралопитеки — да и только.

И сколько раз так бывало. И даже хуже, когда Одиссей лук начал загибать на глазах у понтейского люда, видел ведь, что плохо становится некоторым, что они не только вид человеческий теряют, но и синеют у него на глазах, а все равно не остановился. Еще надеялся, что хитрят.

А двое умерли насовсем. Один молоденький таковой. Одиссей перепугался весь, не ожидал столь трагических последствий от своих новаторских дел, бормотал что-то насчет рая для безвременно ушедших по непонятной причине.

А понтеяне только смотрели на него печально и медленно возвращались в разум. Никто сына неба ни разу ни в чем не попрекнул, либо аидели, что ему и самому тошно от нечаянного душегубства, либо не усматривали связи между его действиями и гибелью соплеменников, либо думали, что бог должен находиться вне зоны критики.

Потом сын неба с год, наверное, никаких новшеств не пытался ввести в понтейскую жизнь. Просто наблюдал, помогал полезными советами, о душе пристрастился вести долгие беседы.

И вот с беседами все получалось просто прекрасно. Во-первых, из Одиссея со временем просто классный проповедник вышел, видимо, талант в нем особый дремал, пастырский. Во-вторых, слушая доброе, чисто гуманитарное слово, обходящее стороной всякие научно-технические штучки, дикари преобразились на глазах, лица их становились одухотворенными, глаза сияли высоким разумом.

Уже Одиссей все песни спел. Уже все книги переказал, все мамини мускулистые нотации. В критический момент вспомнилось, что в богатой памяти бортового компьютера полным-полно всякого материала. Но пришло время, исчерпался и этот, казавшийся неисчерпаемым, фонд. Мелькнула мысль, что остальную часть жизни придется прожить в молчании, ведь не повторять же одно и то же на разные лады.

И тогда Одиссей принялся безбожно фантазировать! Чем дальше, тем увереннее, успешнее. Брал за основу реальные события из жизни и накручивал на них бог знает что. И нередко действие этих историй переносилось на другие планеты, благоустроенные, как Понтей и Земля, а также и на совсем неблагоустроенные. В зависимости от настроения проповедующего, от его намерения повеселить или же, наоборот, растрогать слушателей. Надо было только не упоминать, каким транспортом герои воспользовались, чтобы попасть на другие планеты, надо было только не забывать вставлять в повествование случаи коварства и любви. И успех становился неизбежным.

Понтейцы, слушая, слезами обливались, хохотали так, что дрожали окрестные скалы, кричали: «Еще, еще, Господи!» И невозможно было понять, какая царит нравственность в их мире — свободная, строгая или какая-нибудь ограниченная. Так-то вроде придерживались понтеяне строгих правил, не занимались блудом и жили устойчивыми парами, но уж очень близко к сердцу принимали рассказы о секс-залах, сочувственно относились к идее парных гимнастических упражнений, а фривольные анекдоты пытались зачем-то запомнить, заставляя рассказчика повторять особо понравившиеся места по два раза.

Одиссей иногда размышлял об этих странностях, но однозначного вывода сделать не мог. Либо нравственность на Понтее находилась в некоей переходной фазе, либо понтейцы никак не соотносили чисто земной фольклор с понтейской действительностью, либо их так покорило искусство устных рассказов, что они воспринимали его как музыку, не внедряясь в смысл. Либо эти люди прошли уже столько всяких фаз, что обходились вообще без нравственности, вернее, без того, что под этим словом понимается на Земле...

В свободное от бесед-проповедей время Одиссей облетел планету вдоль и поперек несколько раз, карту составил, нашел много загадочного, если ме-

рить земными мерками, мерками проверенного здравого смысла.

Так, в недрах Понтея не обнаружилось никаких полезных ископаемых, а там, где они по геологическим приметам должны были присутствовать, оказались противоестественные пустоты, либо пространства, заполненные веществом, которому именно здесь было никак не место.

Производя раскопки в тех местах, где земля непременно построила бы города, Одиссей находил структуры, похожие на останки доисторических строений, но очень неопределенные, словно кто-то не хотел, чтобы на Понтее кто-либо когда-либо обнаружил останки исчезнувших цивилизаций.

Все свои открытия Одиссей бесстрастно заложил в память компьютера, упомянул о них в клеенчатой тетради, но даже не пытался обобщить, найти ответы на вопросы, мимо которых, казалось бы, невозможно пройти равнодушно.

Точно так же он однажды сделал вскрытие умершего от ран охотника (вот оно, чувство долга, ведь сын неба с детства боялся покойников), в котором обнаружил много неожиданного и диковинного. Как патологоанатом, он провел эту работу блестяще, но радиолокационный орган, ультрафиолетовое и инфракрасное зрение, невосприимчивость к радиации и ядам, ультразвукое ухо и ультразвукое голосовое связка были Одиссеем лишь бесстрастно зафиксированы. Непостижимо! Неужели не взволновал вопрос, а для чего предназначила природа такое странное свое творение?

Но нет. Одиссей провел операцию, которую требовало от него полетное задание, занес полученную информацию в тетрадь, а также в память компьютера, и умыл руки. Слово свершил весьма неприятную, страшно скучную обязанность и получил долгожданную свободу. Свободу для своих нескончаемых проповедей.

Впрочем, на этих ежедневных собраниях ораторствовал не один Одиссей, как может показаться. Иногда слово получали и аборигены. Правда, они больше на вопросы сына неба отвечали. Иногда довольно пространно. В зависимости от разбираемой проблемы. Так, если речь заходила о родственных связях понтейцев, об их отношении к природе, о добыче пропитания, о быте — туземцы бывали словоохотливы. Но стоило их спросить об общественном устройстве, которое вообще ни на что известное не походило, об истории, о странном устройстве их организмов, так вопросы начинали как бы падать в пустоту.

Понтейцы не отказывались отвечать, просто они мгновенно отключались, делая глаза коровьими, и теперь уже Одиссей не сомневался, что это не симуляция. В таких случаях он избегал нажима, довольствовался тем, что сказано.

19

И вот пятилетка незаметно прошла. В самом начале казалось, что назначенный начальством срок почти бесконечен, но когда он стал истекать, вдруг открылась катастрофическая нехватка времени. И это при том, что Одиссей работал дни и ночи напролет, давая себе лишь кратковременный отдых для сна.

Интересно, что они там, на Земле, думали, когда составляли такую напряженную программу?! А наверное, они думали, что всю ее выполнять совсем не обязательно, но некоторый избыток работы не повредит, а поможет в случае непереносимого одиночества сохранить рассудок.

В последние месяцы многое изменилось в жизни Одиссея. Теперь он все дни проводил на судне, зато

на ночь покидал его, уходил ночевать в лес, где туземцы сложили для него шалаш точно такой, в каких они сами обитали.

О, это был удивительный шалаш, настоящее произведение искусства! Прутики и ветки, образующие жилище, были так искусно переплетены и уложены, что ни дождь, ни ветер не могли проникнуть внутрь, а внутри, на потолке и стенах, те же переплетения оказывались дивным узором, отображающим нечто непостижимое, действующее на зрителя умиротворяюще и расслабляюще.

В общем, ночевал Одиссей в шалаше, отвыкал от звездолета, потому что со звездолетом, а тем самым и с Землей ему нужно было прощаться окончательно. Было ли Одиссею очень горько от особого чувства окончательности? Да, ему было горько, но не настолько, сколько стоило ожидать. Либо переутомленная психика сама себя предохраняла от срыва, либо, что вполне вероятно, сказывалась уже известная эволюция личности.

А кроме того, пятьсот пять лет что-нибудь да знали. Они значили, например, что прежней Земли, собственно говоря, в природе нет, нет прежнего родного человечества. А есть другая Земля, и вряд ли она стала лучше, ибо лучшее — это родное, а все остальное, скорей всего, — увь. И есть другое человечество, которое давно забыло о своих бесчисленных скитальцах.

И наступил день старта. Одиссей взшел на корабль, помахал ничего не понимающим людям рукой, задрал изнутри люк. Судно за последнее время приняло какой-то нежилый, казенный вид. Это было неприятным открытием, но уже не оставалось времени что-то поправить, прибрать.

Одиссей с трудом влез в скафандр, он, оказывается, уже успел позабыть устройство спецодежды, оставил на часы. Секундная стрелка описала еще два круга. Одиссей перевел глаза на иллюминатор, за ним едва различались ставшие почти родными лица. Затем сын неба быстренько зафиксировался в электронной памяти, что уже не вызывало никакого волнения, как тогда, в первый раз.

Потом Одиссей спустился по веревочной лестнице через черный ход, и ход автоматически закрылся. Навсегда. В душе ощущалась горечь, но и покой, и облегчение одновременно. Слово все эти пять лет он боялся опозориться в чем-нибудь перед далекой родиной, оплошать и не оправдать доверия, и, наконец, все испытания позади, разрешается пожить для себя, в свое удовольствие, пожить как угодно, не думая, что перед кем-то придется держать ответ за все дела.

А внизу росла мягкая шелковистая трава в рост человека, в которую Одиссей, оступившись, повалился навзничь. Рухнул с шумом, словно смертельно раненый мамонт. И увидел понтейские созвездия, которые радостно блестили с тех самых пор, как заимели имена.

Потом в одну сторону полетел гермошлем, в другую — свинцовые бахилы, в третью — резиновые штаны, куртка. Оказавшись в чужой среде ни на кого не надежными, все эти предметы через мгновение самоуничтожились, ярко вспыхнув. Каждая вспышка длилась одну микросекунду и не могла быть замечена невооруженным глазом.

Потом Одиссей незаметно выбрался из высокой травы и оказался перед толпой аборигенов, все еще с тревогой глядящих на задренное судно.

— Я здесь! — крикнул Одиссей людям дурашливо, — ку-ку!

Люди перевели взгляды на него, и в них возникли облегчение и радость.

— Надо отойти подальше, — крикнул еще Одис-

сей, теперь уже серьезно и озабоченно, — сейчас здесь будет большой-большой огонь, как в преисподней, о которой я вам рассказывал!

Толпа послушно раздалась, очистила взлетную площадку. И Одиссей примкнул к толпе. Но люди все равно держались так, что вокруг него оставалось пустое пространство. Настолько велика была сила привычки.

Одиссей украдкой глянул на понтеян. Их лица были непроницаемы. Огонь разгорался еще.

А все прошло так же, как всегда проходило на Земле. Зрелище получилось не менее великолепным. А может — и более.

Нет, точно более. Потому что воздух на Понте все-таки немножко отличался от земного, а это сказывалось на цвете атомного пламени.

И звездолет растворился в пространстве, вернее, сперва превратился в звезду, а потом исчез из вида. Потом автоматы прибрали за ним всю атомную гадость. Потом самоликвидировались, не привлекая внимания.

Больше на бывшем космодроме делать было нечего. Стой — не стой. Одиссей глянул на аборигенов мимоходом. Но что-то его привлекло в их лицах. Он присмотрелся. Точно — лица понтейцев были мокрыми от слез.

— Да тут я, тут! — звал Одиссей что было мочи.

— Видим, — без всякого выражения ответили люди.

20

А устроено понтейское общество было следующим образом. Оно состояло из семей, но этим и заканчивалось его сходство с известными структурами. Не было объединения семей по родам, не существовало ни племен, ни народов, тем более государств.

Семья — и все. Человечество, целиком состоящее из элементарных ячеек. И это казалось совершенно невозможным по земным меркам. Ну, правда, как так могло быть, чтобы данное человечество веками находилось в стабильном состоянии, и в нем совсем не рождались ни наполеоны, ни джугашвили, ни другие властолюбцы?! Не рождались желающие присвоить результаты чужого труда, заставить работать на себя соплеменников, а потом и инородцев?!

Были бы понтеяне глупы, так все бы на это обстоятельство и списалось, но они глупы не были...

Впрочем, к тому моменту, когда Одиссей окончательно разобрался с устройством понтейского общества, ему уже давным-давно было не до теоретических изысканий. И волновали его совсем иные проблемы.

Ничего не пришлось объяснять аборигенам насчет исчезновения космического судна, сперва настроения не было, печаль давила, и несколько дней Одиссей провалялся безвылазно в шалаше, не показываясь на люди. Потом он мучительно подбирал слова, которые могли бы донести до понтеян принцип действия бортового компьютера и биоприставки. И тут встретились такие филологические трудности, каких не было никогда.

Но все разрешилось наилучшим образом. Когда спустя несколько дней толпа аборигенов собралась и попросила сына неба объяснить, наконец, что произошло, почему корабль улетел, а он остался, Одиссей вдруг неожиданно для самого себя закатил глаза. Он не готовился к этому спектаклю, все получилось спонтанно, но очень естественно. И понтеяне сразу понимающе отстали. Они были вообще деликатными людьми, умели уважать чужие тайны.

Правда, с тех пор закончились традиционные проповеди сына неба, его выступления перед инопланетянами по самому широкому спектру вопросов. С одной стороны, иссякло любопытство, с другой — краснореч-

чие, связанные, по-видимому, по закону спроса-предложения.

Хотя, конечно, нет-нет да и возникало у Одиссея желание как-нибудь разузнать, продолжают ли понтеяне считать его богом или уже перестали, но он не знал, как к этому делу подступиться, опасался сильного разочарования, да и случая удобного не подворачивалось. И далеко не сразу осознал Одиссей новую форму своего одиночества среди понтейских Пятниц. Когда он каждый день витийствовал перед большим количеством людей, мысль об одиночестве, если и заходила ему в голову изредка, то это была какая-то и торжественная, какая-то очень возвышенная и горьковато-приятная мысль.

Но когда паства разбрелась, Одиссей увидел, что не умеет наладить контакт ни с кем из аборигенов так, чтобы этот контакт стал существовать естественно и как бы сам собой. В те дни, бывало, он ловил в лесу кого-нибудь из понтейцев, хватал его за руку, а что делать дальше, не знал, только торопливо выталкивал из себя слова, но каждое последующее все никак не подходило для завязывания сердечного знакомства.

— Ты, это... Кто такой?.. Почему здесь ходишь?.. А знаешь, кто я такой?.. — вот так примерно пытался Одиссей знакомиться на улице.

А понтейцы от него испуганно отшатывались, да и все. Во-первых, привыкли к дистанции. Во-вторых, все они вне толпы отличались чисто понтейской стеснительностью, даже робостью. Хотя могли бы попытаться войти в положение, понять, что творится с бедным сыном неба. Могли бы переступить через некоторые условия. В-третьих, они почему-то стали быстро забывать русский язык...

Словом, последствия новой формы одиночества стоило ожидать самые серьезные, если бы не случай, который не только на Земле считается его величием, но и во всей Метагалактике.

21

Однажды во время охоты на носорога погибло несколько человек. Не много и не мало, а в пределах среднестатистической нормы. Одиссей в охоте тоже активно участвовал, тоже бегал вокруг зверя, кричал, махал самодельным дротиком. Не его, других достал разъяренный зверь своим страшным рогом. Так распорядилась судьба, а с судьбой не спорят и на нее не обижаются.

Все прошло как обычно. Носорога, в конце концов, завалили, перепилили его глотку острым камнем, наблюдали, пока он окончательно испустит дух. Стали делить добычу. Разделили. Равный со всеми пай достался и Одиссею.

На том и разошлись. Цель мероприятия, ради которого образовалось некоторое подобие коллектива, была достигнута, и коллектив распался так же легко, как и возник. И бывшие руководители охоты стали простыми обитателями Понтея, как и все остальные участники.

Люди пошли варить мясо, утешать и усыновлять оставшихся после охоты сирот. Бессчетно раз уже так было.

А Одиссей немного замешкался. Засмотрелся на трупы понтейцев, которых соплеменники, прежде чем уйти, сложили аккуратной кучкой. Он никак не мог научиться с легкостью относиться к трагедиям. Всегда после охоты на несколько дней терял аппетит, что, впрочем, не означало, будто добыча у него из-за этого протухала. Нет, добыча не протухала, потому что Одиссей и без аппетита всегда хорошо кушал...

Он засмотрелся, представил себя лежащим вот так же в куче сотоварищей с выпущенными кишками, содрогнулся. И услышал тихий-тихий стон.

Одиссей закричал что было силы: «Ау!» Но уже никого поблизости не осталось. Пришлось ему самому растаскивать мертвецов, хотя он всегда до последней возможности избегал прикасаться к мертвой плоти.

Наконец, Одиссей достал нужное ему тело. Оно оказалось женским. Ну, правильно, женщины чаще всего и гибли на охоте, потому что хуже владели оружием, были слабей мужчин физически и, к тому же, обычно играли роль живой приманки.

И, как писали земные беллетристы, «вся жизнь бедной амазонки встала перед глазами Одиссея». Обычная история: жили-были люди, мужчина добывал пропитание, женщина помогала ему и блюла очаг, но потом кормильца затоптал мамонт; и ей, бедняжке, пришлось работать за двоих, и она работала, пока не разделила мужнину участь. Но зато детям доля облегчилась, поскольку на Понтее лучший кусок — сироте. Это — закон.

Бедняжка была явно не транспортабельна и, пожалуй, шансов выжить не имела. Но бросить ее на произвол судьбы Одиссей не мог. Еще продолжало сказываться земное воспитание, не лучшее, может быть, но имеющее свои особенности. И бросить не мог, и смысла хлопот не видел, и сожалел от души, что услышал стон, ведь если бы не услышал, то сидел бы дома, и совесть была чиста...

В общем, Одиссей весь перепачкался в чужой крови, дотащил несчастную до ближайшего ручья, умыл ее, сам умылся, сложил обратно выпавшие из бедняжки органы, они, слава богу, оказались целыми и почти незапачканными, устроил небольшой навесик от солнца. И стал ждать неизбежного, поскольку переливание крови сделать не мог, а оно и было самым необходимым.

Прошел час, два. Но Смерть находилась где-то, по-видимому, на другом вызове.

Тогда Одиссей решил оставить умирающую ненадолго, хотя и боялся, что в его отсутствие наведуются дикие звери. И звери, действительно, наведались, но, к счастью, они для начала занимались теми, что в куче.

Так что Одиссей вернулся быстро и вовремя, принес что-то вроде иглы или шила, какую-то беззубку самодельную. И грубо, через край зашил живот пострадавшей. И только после этого он почувствовал нечто, напоминающее удовлетворение. Хотя сомнений относительно исхода дела у него по-прежнему не было, зато будущий труп обрел какую-то завершенность, что ли.

Но еще Одиссей прихватил из шалаша теплую подстилку из птичьих перьев и сухой травы, глиняную посудину и приспособление для добывания огня. И скоро под навесом затрещал костерок, запахло свежим мясным духом. И женщина открыла глаза. Одиссей сперва даже испугался такого явления, а потом удивился, а потом хлопнул себя ладонью по лбу:

— Балда, никак не привыкну, что вы ни ядов, ни инфекций не боитесь, что вам никакая стерильность не нужна! Молчи, не говори ничего, ты много крови потеряла, береги силы, а я сейчас бульончик сварю!

Одиссей так и остался под навеском рядом со своей пациенткой, а о шалаше с узорчатыми стенами и потолком даже не вспомнил, потому что никаких богатств там не было, да и не случалось среди понтейцев воровства.

И через пять дней они уже снимали швы. А еще через десять женщина была совсем здоровехонька и даже весела. Конечно, грубый шрам через весь живот не украшал ее, но к такому пустяку можно легко привыкнуть.

Как ее звали? Да по понтейским меркам — обыкновенно, то есть, непроизносимо для земного языка и, следовательно, неизобразимо земными буквами. Одиссей бы, конечно, приспособился и к этому с грехом

пополам, но в голове у него все чаще крутилось другое: «Пенелопа...» Он не сразу и вспомнил, откуда взялось это имя, а когда вспомнил, уже было поздно что-то менять, его одобрила сама новонареченная.

Одиссей удивился:

— Как так, вы же не переносите наших имен!

— Обыкновенно,— ответила женщина, уже слегка кокетничая, откуда только что бралось,— моего прежнего имени нет, и меня прежней нет. Если кто-то умер и снова воскрес, то это уже другой человек. Со всем другим. Он даже на свое прежнее имущество не имеет права, даже на прежних родственников. Теперь ты мой единственный родственник...

— А дети твои как же?

— Так же, о них позаботились уже.

— Дикий обычай!— счел нужным сделать вывод Одиссей.

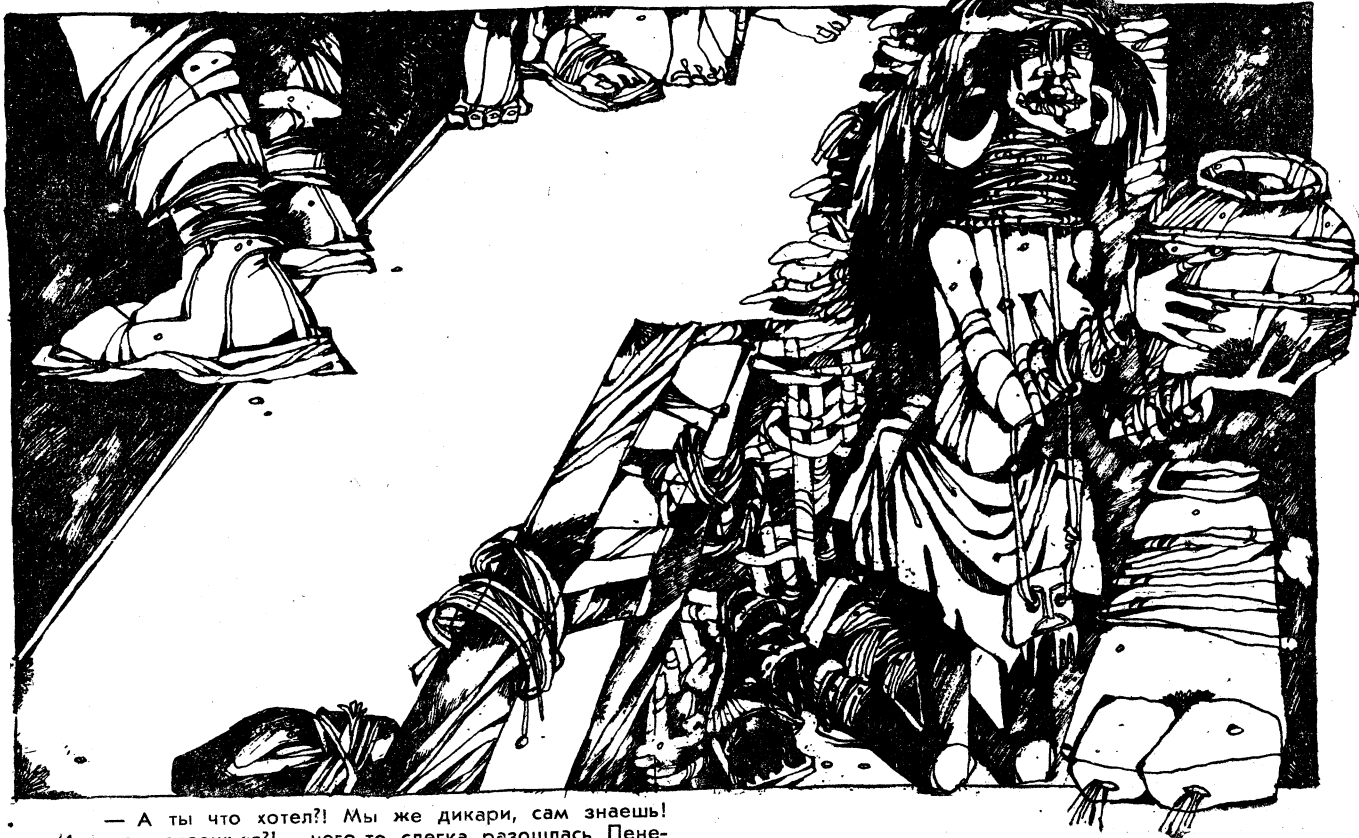
22

И стали они жить-поживать в шалаше вдвоем, а потом — вчетвером. Думали, что несовместимость получится, а ничего. Потом Одиссей даже запасался, что без специального снаряжения их продуктивность может слишком далеко зайти, но обошлось.

Да, родились у них с Пенелопой две девочки-двойняшки, и живот у Пенелопы прекрасно выдержал это контрольное испытание, сшитый впопыхах шов не разошелся, а стал еще крепче и надежней.

— Как назовем-то?— смущенно спросила молодая мать молодого отца, когда все кончилось и она отдышалась.

— Так ведь ясно же,— с готовностью придвинулся Одиссей поближе к жене,— я же тебе рассказывал. А тут такое совпадение.



— А ты что хотел?! Мы же дикари, сам знаешь! Или сомневаешься?!— чего-то слегка разошлась Пенелопа.

На это Одиссей сразу не нашел, что ответить, а потом задумался, словно забыл про собеседницу, замолчал на некоторое время. И она сидела рядом, стараясь не сплугнуть его думы.

— Ну, что ж,— тряхнул Одиссей головой, словно вытряхивая из нее что-то ненужное,— значит, такова наша судьба! Пенелопа так Пенелопа, а все ультразвук можешь добавить по своему вкусу, но без издешества, а то у меня от них голова болит. И вот я тебе говорю: «Я вернулся, Пенелопа, встречай мужа своего!...»

И она встретила его один раз, потом сразу второй, потом, после небольшой передышки,— третий.

Господи, он и не знал, как сильно ему надоело быть богом!

— Повтори, если не трудно, а то я с первого раза не запомнила,— виновато попросила та.

— Да... Юдифь и Машутка...

— Ну, что ж, по-моему, ничего...

Пенелопа еще хотела добавить, что, может быть, пора уже сыну неба выкинуть из головы всякие воспоминания о первой жизни, похожие, если не на бредни, то на чистейшую выдумку. Но не посмела. Не то, чтобы совсем не посмела, а лишь временно. Отложила неизбежный, по ее мнению, разговор до более подходящих времен. Это хоть на Земле, хоть на Понте, — везде жены не любят, когда их мужья излишне фантазируют или помнят то, чего ради семейного покоя помнить не нужно.

Стало в шалаше веселей, но тесней. Впрочем, теперь у Одиссея не было времени без

дела валяться дома. Надо было успевать, поворачиваться. Работы хватало. Ее хватало всем. И Пенелопе, и подрастающим детям. Мать их стала брать на промысел, едва они научились ходить. А промысел известно какой — собирательство. Дикие плоды, корешки питательные, птичьи яйца, мелкая живность, которую удавалось словить, — все шло в дело.

Хотел Одиссей научить своих хозяйшек кой-чему по части заготовки провианта впрок, хотел, чтобы водились в доме всякие припасы, соленья, варенья, маринады.

— А зачем? — удивилась Пенелопа, — разве с нашим лесом что-то должно случиться, разве он может засохнуть, умереть, перестать плодоносить?

И Одиссей не нашел, что ответить. Она была права.

А потом ему приспичило сделать огород, словно мало пропитания росло в лесу, не требуя никакого ухода. Пенелопа закатывала глаза и хваталась за сердце, когда муж ковырял целину каменной мотыгой. Но он все равно расковырял небольшую грядку. Рецидивистом в смысле новаторства оказался неисправимым.

Кстати, дети спокойно и даже равнодушно наблюдали за ним, их здоровью явно ничто не угрожало. Возможно, это и подбадривало Одиссея.

Так он посадил на грядке сладкие корешки. Собирался в будущем наладить сахарное производство. Но, увы, корешки на специально подготовленной почве расти не захотели. Точнее, росли, но уж очень чахлые. Куда хуже, чем на воле. Будто понимали что.

Одиссею бы не опускать руки, попробовать заняться селекцией, другими культурами. Раз уж зуд такой. Но им в тот момент уже овладела новая идея. Захотелось построить дом. Настоящий, бревенчатый.

Однако труд опять оказался напрасным. Всего-то два венца срубил каменным топором Одиссей, причем тайком от жены, и понял, что надо выбирать: или добывать руду, жечь древесный уголь, строить домну, выплавлять чугун, варить сталь, ковать из нее настоящий топор, или плюнуть на дурацкую затею с домом.

Конечно, Одиссей плюнул. Но не из-за боязни устать или угробить новаторством хозяйку, а больше потому, что ни одно из перечисленных ремесел он не знал от начала до конца. Так вот и учили на курсах усовершенствования контингента.

Шли годы. И сын неба все меньше отличался от коренных понтеян. Даже и лицом стал на них похожим, только синева на подбородке и под носом от тщательного скобления острым камушком слегка выдавала его происхождение, но это если приглядываться. А если не приглядываться — такое же безволосое, слегка приплюснутое лицо, такой же мощный загорелый торс, такая же набедренная повязка. И по фасону, и по расцветке. Ну, может, немножко пошире.

И уже, бывало, начнет Одиссей вспоминать, что это за штука, которую он таскает на плече, которую кладет рядом, ложась спать, а вспомнить и не может.

— Машутка, Юдька! А что это у папки за штука? Кто знает? Кто вперед ответит, а?!

— Автомат! — кричат девчонки хором и хохочут.

А отец им за это по гостинцу, жареному кабаньему хвосту.

«Ага, — вспоминает молча, — правильно, автомат...»

С разрывными зарядами... Ага...»

А однажды Одиссей почувствовал, что у него в животе образывается новый орган, тот, который отрицательно реагирует на прогресс. Испугался, конечно, не на шутку.

— Пенелопа, пощупай, что это у меня?

— Подумаешь, у меня тоже это есть, — легко поставила диагноз жена.

Одиссей на пробу попытался думать о чем-нибудь прогрессивном, ему сразу сделалось нехорошо. «Ви-

дать; окончательно в понтейца превращаюсь», — так подумалось.

А потом испуг прошел. Наступило состояние неопределенности, то ли радоваться переменам в физиологии, то ли, наоборот, кончать с собой таким. С одной стороны, мечтал, чтобы получилась на Понте маленькая колония землян, ну, полужемлян, чтобы эта колония стала со временем республикой...

С другой стороны, надоело нескончаемое ощущение временности, уносящее нервные клетки и сводящее с ума, а окончательное превращение в понтеянина сулило бы гармонию и успокоенность души...

Забегая вперед, отметим, что новый орган не развился как следует, но состояние неопределенности оказалось стойким, оно только усиливалось или ослабевало, но никогда не оставалось совсем...

Так прошла жизнь. И как водится хоть на какой планете, ни одна мечта о гармонии не сбылась. Дочери выросли, замуж вышли за местных парней, внуков родили, но внуки знали по-русски лишь несколько слов, а больше любили скакать по деревьям с примитивными дротиками и орать нечленораздельно. Где ему, Одиссею, против генетики целого человечества одному!

Пришлось забыть о русской республике на Понте.

В стопроцентного понтеянина тоже превратиться не удалось. Сам себя уж не отделил, а они, заразы, отличали с первого взгляда. «О, сын неба!» — кричали, уже вряд ли помня точный смысл произносимых звуков. Одиссей только кисло улыбался да раскланивался, как отставной конферансье.

23

Но однажды вдруг запомирала Пенелопа. Все бегала, хохотала, ругалась, а потом легла и руки сложила на животе. Это было, в общем-то, естественное дело, а все равно Одиссея оно застало врасплох.

Он, конечно, понимал, что такой момент обязательно настанет когда-нибудь, однако, во-первых, не думал, что жена его опередит, а, во-вторых, если и допускал этот вариант, то рассчитывал на свой самообладание, думал встретить горе философски стойко.

Так бы оно, наверное, и вышло, если бы смерть подкрадывалась постепенно, а не выскакивала из-за угла, будто налетчик.

Но понтеяне, вдобавок ко всему, не знали старости. По их лицам и телам невозможно было определить возраст, люди, достигнув зрелости, уже больше не менялись до самого конца, имели хорошую форму и работоспособность. И это, конечно, само по себе здорово, поскольку старость зла и, если она приходит, то делает с человеком порой такое, чего ему не снилось в страшном сне.

Однако у всякого явления есть обратная сторона. Среди понтеян не было убогих стариков, но зато смерть косила цветущих на вид мужчин и женщин. И землянину, даже всю жизнь проведшему в иномире, невозможно было привыкнуть к такой несправедливости, хотя и на него самого уже начинали распространяться местные особенности.

Поэтому первое, о чем подумал Одиссей, увидев жену лежащей в столь однозначной позе, это о лекарстве. Хотел сразу делать какую-нибудь настойку из трав, какой-нибудь отвар из корней, чтобы поить Пенелопу всей этой гадостью, чтобы она пропотела как следует, прочистила желудок, взбудрила кровь. Все знал, а цеплялся за соломинку.

Но супруга остановила его чрезвычайно спокойным и даже немного насмешливым голосом:

— Не суетись. Сядь лучше. Посиди возле меня. Слава богу, не сей момент отхожу, а, может, завтра-

послезавтра. Лучше поговорим, мало говорили с тобой, так хоть напоследок...

— Да ты еще поправишься, да ерунда все, не бери в голову, не выдумывай...

— Сам не выдумывай,— перебила Одиссея жена,— какая она у тебя живучая, эта привычка произносить лишние звуки, сколько лет живешь на Понте, в два раза больше, чем на своей Земле, да, видно, горбатого могила исправит. Тогда, после носорога, мне твой бульон, конечно, пошел на пользу, это верно. Но теперь, сам же понимаешь,— совсем другое дело. Нынче мое нутро уже износилось, что ни день, то какой-нибудь орган выходит из строя. Сегодня противоатомная и противохимическая защиты отключились, завтра, надо ожидать, антипрогрессивная железа перестанет функционировать, а уж там, если ничего непредвиденного не стряется, сердце и мозг...

Наутро бедняжке стало лучше, видимо, в последний раз. Ее сознание было ясным, голос слабым, но отчетливым.

— Устал? — спросила она мужа участливо.

— Да ладно, какая там усталость,— махнул он рукой и через силу улыбнулся,— ты-то как?

— О! Такое ощущение, что сейчас полечу! — она еще находила силы шутить,— я ночью теряла сознание, говорила чего?

— Да нет, собственно... Разве что на вашем птичьем языке...

— Вот, вот, вот! — Пенелопа даже попыталась подняться на подстилке,— именно об этом я и должна тебе кое-что сказать, кое-что открыть. У меня ночью, наконец, отключилась антипрогрессивная железа, будь она неладна... Доводилось тебе когда-нибудь беседовать с понтеянином, у которого не работает антипрогрессивная железа?

— Может, тебе лучше побережь силы? — робко вставил Одиссей свое слово в горячечную речь умирающей, до него, наверное, плоховато доходил смысл слов, он видел лишь лицо, так страшно изменившееся,— я ведь давно не исследователь...

Не ждал уже сын небеса никаких откровений, не хотел их. Он, честно сказать, считал, что уже ничего здорового не услышит от родного человека...

Пенелопа это поняла, в глазах ее мелькнуло нечеловеческое отчаяние, она, собрав последние силы, крепко вцепилась в руку мужа острыми ногтями. Впрочем, это только ей показалось, что она вцепилась, на самом деле ее рука была очень слабой и холодной. Но привлечь внимание ей все-таки удалось.

24

— ...Птичий язык, говоришь, мессия ты наш!.. Да, ты давно не исследователь, более того, никогда им не был. Ты просто чудо. Значит, птичий язык... Значит... так. И тебя не поразило, не заставило задуматься то, с какой быстротой мы освоили твою примитивную речь, твои жалкие несколько сотен слов...

Не заставили тебя задуматься и твои раскопки, и твои анатомические изыскания. Устройство нашего общества тебя обрадовало, но не поразило совершенством.

Все правильно. Ты быстро приспособился.

Но как смешно ты пытался тащить нас к прогрессу, помнишь? Помнишь, самострел, колесо, рычаг, а потом еще огород? Немало нашего народа угробил ты по своему невежеству. Но мы были не в обиде, потому что любой другой на твоем месте наделал бы не меньше бед.

Так вот, знай. Наша цивилизация на сто тысяч лет древнее вашей. Даже чисто биологически мы стоим неизмеримо выше вас. Мы прекрасно приспособлены к существованию в малопригодной для жизни среде.

У вас же все впереди. В сущности, вы — наши дети. Это мы давным-давно посетили вашу Землю, нашли вас, четвероногих и совершенно безмозглых. Благодаря вам мы получили важнейшее подтверждение гипотезы о нашем собственном прошлом.

Но ваш путь развития тогда пресматривался далеко не однозначно. Стрелка эволюции не знала, куда ей лучше всего качнуться, туда или сюда.

Кто знает, возможно, мы были не совсем правы. Или вовсе не правы. Никакого судьи над нами нет и не будет. Только мы сами и есть судьи.

Так или иначе, мы сочли возможным придать эволюции наиболее верное, по нашим понятиям, направление. И вы стали людьми. По-моему, вы довольны этим. Но, вполне возможно, без нашего вмешательства стали бы сверхлюдьми. Или недолюдьми. Но мы так устали от вселенского одиночества! Так устали...

С тем и вернулась межзвездная экспедиция на Понтей. Надо было решать свои текущие дела, не могли же мы ждать вас сложа руки. Текущих дел, как всегда, хватало.

В аккурат в очередной раз на повестку дня встал вопрос о счастье. Нам все казалось, что еще одно усилие, еще пол-усилия, и абсолютное всеобщее счастье будет достигнуто. Это и вам казалось? Ну, еще бы!

Да, и вы, и мы то, и дело приходили к выводу о невозможности абсолютного счастья. Но вместе с этим выводом сразу возникла какая-нибудь малосенькая лазейка на противоположную сторону окончательной истины, и через эту лазейку рано или поздно опять исчезала наша трезвая убежденность.

«Господи! — вскричали мы однажды в отчаянии, — да неужели так-таки и нет ничего нового во Вселенной!»

Ого! Конечно, этой интернациональной, интерпланетной горечи миллион лет или уже даже миллиард, но в глубине сознания не может не скрываться искра надежды на хотя бы одно исключение из безжалостного правила. На хотя бы одно!

...В общем, на самой вершине прогресса абсолютного счастья не оказалось. Дальше идти было некуда, а куда-нибудь идти необходимо, и мы повернули назад. Постепенно в нас новый орган возник под влиянием естественной эволюции, либо мы создали его сами усилием воли, что совершенно не исключено, либо еще как. Железа антипрогрессивная. Антипрофиз.

У нас остались физическое совершенство, наследственная память, заблокированная, правда, антипрофизом, но каким-то образом то и дело влияющая на наше поведение. Вернулось единство с возрожденной, самовоспроизводящейся природой, установилось равновесие численности нашего поголовья.

А тут неожиданно являешься ты, чтобы сообщить о нашем нравственном и физическом созревании. Являешься, требуешь внимания, а мы-то уже далеко-далеко! Мы уже не ищем счастья в контакте с братьями по разуму, потому что его там нет. Мы теперь рождаемся детьми, живем детьми, умираем почти младенцами. Только вспыхнет перед самым концом ослепительный свет, а тебя уже и нет в природе...

Однако ты внес в нашу жизнь существование разнообразие. Особенно в те годы, когда так усердно играл роль сверхъестественного существа. Жаль, что перестав быть богом, ты затерялся среди нашего человечества, стал личностью серой и скучной. Но зато мне ты доставил много приятных минут. Особенно, если не занимался ни огородами, ни стройкой.

О, господи, Дуся мой, Дуся, спасибо тебе!.. Спасибо тебе, дурачок ты мой дорогой, мой родной пришелец!..

И последнее. Главное. Ты можешь, если захочешь, вернуться на свою Землю. Что тебе моя могила? Что тебе дети, которые скоро окончательно забудут нас,

а вспомнят лишь на последнем рубеже своем? Улетай. Если хочешь. Это просто. Надо лишь встать на то место, где был твой звездолет. Надо вытянуться изо всех сил... Зажмуриться... Надо поверить... Надо приказать себе: «Домой!»... И нуль-переход произойдет... Может произойти... Должен... Мы когда-то запросто уходили в подпространство и оказывались в любимом месте Вселенной... Ты — почти как мы... Попробуй... У тебя может получиться... Прощай...

25

Последние слова Пенелопа произносила уже едва-едва, силы оставляли ее навсегда. И, конечно, она не видела, что Одиссей уже давно не воспринимает ее речь, что он только чудом не падает рядом с ней, ибо сознания в нем нет. Он несколько минут находился в состоянии, близком к эпилептическому припадку, разбитость в теле и разброд в мыслях еще долго не давали ему сосредоточиться целиком на факте смерти близкого человека.

А требовалось торопиться, меньше суток оставалось до похорон, которые, он это сразу решил, должны были стать самым заметным на Понтее событием за многие десятилетия, и может быть, и века. Одиссей немало смертей повидал на Понтее, притерпелся как-то к всеобщему равнодушию по отношению к усопшим, сам стал равнодушным, но тут что-то в нем словно бы ожило.

Перво-наперво он решил наготовить для поминок провианта. Ого, такой королевской охоты давненько не случалось если не во Вселенной, то уж в галактике точно! В иное бы время пришлось собирать временный охотничий коллектив, выслеживать зверя, гнать его несколько дней, терять соратников. Но на сей раз Одиссей решил презреть условности.

«Автомат-то на что!» — вспомнил он вовремя. Слегка помутилось в глазах от такой мысли, но сразу и прошло. Хватило здравого смысла сперва проверить оружие. И, конечно, оно оказалось в ужасном состоянии. Еще бы год-два, и совсем пропало от ржавчины. Поэтому около часа ушло на чистку ствола.

Зато потом сын неба отвел душу за всю жизнь. Он вышел на тропу, по которой самые крупные звери ходили на водопой. Первый же зверь чрезвычайно обрадовался встрече, ведь двуногие никогда поодиночке не появлялись во владениях этого хищника. «Вот так удача!» — должно быть, подумал он.

А Одиссей как шархнет в него очередью, вот и удача. А потом он еще палил и палил, пока животные не поняли, в чем дело, и не разбежались в панике. Видимо, у сына неба его антипрофиз еще находился в зачаточном состоянии и не всегда срабатывал или срабатывал как-нибудь половинчато.

Таким образом, мяса для поминального обеда было наготовлено достаточно. А еще как раз в огромном глиняном жбане настойка из сладких корешков доспела, словно чувствовала надвигающуюся серьезную потребность в себе. Пенелопа даже и не знала, что ее муж под старость опять занялся химическими опытами. Дело было за гостями, или как они там называются, провожающие человека в последний путь, а потом участвующие в поминальном застолье. Может, граждане соболезующие?..

С гражданами соболезующими оказалось сложнее. Одиссей до поздней ночи бегал по лесу, оповещал соседей, что было нелегко без какого бы то ни было транспортно-го средства, да еще шалаши стояли в лесу куда реже, чем дома в земной деревне. Удалось оповестить семей сто, но уверенности, что они все поняли и явятся в назначенный срок, не осталось. Дикари либо действительно забыли напрочь русский язык, либо морочили сыну неба голову.

И, действительно, за два часа до назначенного срока возле Одиссея стойбища было лишь две семьи родственников и больше никого. Зятья посматривали на тестя исподлобья, кидали сердитые взгляды на жен, но помалкивали, лишь изредка кратко взрыкивая на забывающих о скорбности момента ребятишек. Ребятишки прекращали шум, но, конечно, не надолго.

Само собой, большинству понтеян и такое количество провожающих на тот свет было в диковинку. У них смерть отдельного человека никогда не ослабляла абсолютного счастья народонаселения. Стало быть, Одиссей уже мог быть уверенным, что мероприятие запомнится аборигенам надолго. Но какое-то необыкновенное упрямство крепко засело в нем, неизвестно откуда взявшись, какое-то неистовство.

— Ладно, сидите пока, — сказал сын неба родственникам, — не вздумайте смяться, все равно начнем в назначенный час, как я сказал. Вы, Машутка и Юдька, займитесь, что ли, обедом, а вы... в общем, мужики, натаскайте им воды и хвороста. А я сейчас...

И Одиссей отправился по соседям с напоминанием, не забыв, конечно, прихватить свой неизменный автомат. И правильно сделал. Потому что соседи, в большинстве своем, похоже, собирались проигнорировать скорбное торжество. В общем, Одиссей гнал нерадивых гостей пинками, прикладом, орал на весь лес, и гости шли, куда их пригласили, почти безропотно, а некоторые даже вприпрыжку, видимо, они сильно отвыкли от такого обхождения.

Но жалкие единицы соболезующих ерепенились всерьез, даже выкрикивали не попад отдельные сохранившиеся в мозгах русские словечки, так что пришлось Одиссею для острастки даже стрелнуть несколько раз поверх голов. Это подействовало.

Таким образом, похороны прошли на высоком организационном уровне. Одиссей не спал почти четверо суток, но сделал все, что можно было сделать в условиях иномира, и даже больше. Пожалуй, Пенелопа осталась бы довольной. Хотя, как сказать...

Пенелопу до самой могилы несли на носилках, она была завернута в красивую белую шкуру какого-то зверя, так что на этом фоне ее смертная бледность не слишком бросалась в глаза.

Потом процессия остановилась. Одиссей подошел к носилкам, зажмурился и отважно поцеловал мертвую куда-то в лицо, потом распрямился, жестом пригласил дочерей последовать своему примеру. Но они сделали вид, будто не поняли жеста.

Пришлось и ему сделать вид, будто никакого жеста и не было, не устраивать же скандал на краю могилы при посторонних.

Тело опустили в яму, стали забрасывать землей. Вот в этой процедуре принимали участие все без исключения, причем с явной охотой. Будто чувствовали, что приходит конец тягостному обряду. И скоро на месте глубокой ямы образовался холмик рыжей глины, так похожей на нормальную земную глину.

— Прощай, родная! — сказал Одиссей хрипло, — во Вселенной, наверняка, нет ничего нового, новыми были только мы с тобой, но вот тебя уже нет, а скоро и меня не будет. И так все новое, все сверхновое уходит в небытие, совсем чуть-чуть не поняв важнейшую из истин — где оно, абсолютное счастье...

Спи спокойно. Да будет тебе земля пухом! Аминь. Одиссей широко, истоно перекрестился, выпустил последние разрывные заряды в чистое небо и воткнул бесполезный ржавый автомат в мягкую землю. Дулом вниз.

— Идите, — махнул он рукой, — идите все, ешьте, пейте за упокой души, а я еще побуду. Один.

Одиссей сидел долго, может, не один час, с пустой и гулкой головой, а вернул его к действительности

горький запах дыма, тянувшийся со стороны осиротевшего станова.

Заподозрив неладное, Одиссей двинул на запах, и скоро перед ним предстала живописная картина. Картина растленного влияния высокоразвитой цивилизации на слабо развитые народы.

Понтейцы валялись вокруг одиссеева шалаша в интересных позах, не сумев вовремя покинуть жбан с настойкой, а шалаш горел, угрожая огнем близстоящим деревьям.

Сперва Одиссей лишь усмехнулся, как бы не веря в то, что увидел, потом задумался. Потом посветлел лицом как человек, принявший трудное, но окончательное решение.

— А что, — сказал он вслух сам себе, ободя глазами пострадавших от алкоголя понтейян, — может быть, с этого дня начнется очередной зигзаг вашей эволюции!

Шалаш догорел, потух. Богатства никакого не осталось, да и не было никогда. Одиссей двинул туда, откуда давным-давно начал свою удивительную жизнь в иномире.

26

Небо над головой уже было битком набито звездами. И с каждой минутой они прибывали и прибывали. Наконец, едва приметной точкой обозначилось в космической бездне Солнце. Чтобы его разглядеть на понтейском небе, требовалось очень хорошее зрение.

Нет, если бы несколько десятков лет тому назад кто-нибудь сказал Одиссею, тогда еще с гордостью называвшему себя «яппи», что человек волевым усилием может мгновенно перебросить себя через пропасть шириной во много парсеков, он бы и слушать не стал подобную метафизическую ересь, не стал бы ждать объяснений и доказательств сказанного, а просто повернулся бы спиной к еретикам.

А тут внезапное предсмертное откровение жены, хотя и выслушанное в бессознательном состоянии, оказалось тем волшебным катализатором, который перевернул замшелые представления о материи и пространстве, резко углубил их, вывел из бесконечную даль познания пронзительным ярким лучом.

И когда Одиссей с горящими глазами, с развешивающимися на ветру волосами встал посреди поляны, где ничто не напоминало о бушевавшем когда-то атомном огне, стоял, вперив демонический взгляд в толщу космоса, это был уже далеко не тот, полуодичавший в джунглях Понтея сын неба, это был сверхчеловек будущего.

Вот он вытянулся всем телом, простер руки в сторону невзрачной, едва различимой среди вселенной пыли звездочки, произнес убежденно: «Домой!» И голос его обвалом прогрохотал над окрестностями.

Со стороны можно было наблюдать, как сын неба окутался сияющим облаком, а облако, мгновение повисев неподвижно, с невообразимой быстротой умчалось ввысь, растаяло там.

Одиссей же видел лишь далекую звезду, в то время как остальные звезды как-то оазмазались по горизонту, стали световыми штрихами, напоминающими следы элементарных частиц на проявленной фотопластинке. А та, единственная звезда, которая нужна была ему, увеличивалась с непостижимой быстротой от восьмой величины до второй, а потом и до первой. Наконец, стали заметными вокруг нее точки планет...

«Как бы не врезаться куда-нибудь на полном ходу! — испуганно мелькнуло в том уголке мозга, который еще не успел перестроиться, перейти от обычного дремотного состояния в сверхсостояние. — Снизить бы скорость!..»

Но мысль эта даже не успела окончательно офор-

миться. В глазах вдруг вырос огромный диск, его ночная сторона, возникло ощущение ветра, сперва горячего, но как-то не очень, потом холодного, но тоже не очень, скорей прохладного, такого же, какой минуту назад дул в иномире.

А потом неведомая сила, наверное, обусловленная безграничными возможностями, развернула Одиссея на сто восемьдесят градусов, это он понял по тому, что стали обдуваться встречным потоком не макушка, а пятки, и довольно мягко опустила на грунт.

Грунт при ближайшем рассмотрении оказался асфальтом, которого не было на Понтее, что бесспорно доказывало благополучное завершение путешествия. Однако весь ночной ландшафт здорово напоминал понтейский, очертания деревьев, подступавших к самой асфальтовой тропке, были очень привычными, где-то что-то журчало тоже знакомым голосом.

Но небо обмануть не могло. К нему и обратился Одиссей с самым главным для данного момента вопросом. И небо ответило блеском созвездий, названия которых успели вылететь из головы, но конфигурация вспомнилась отчетливо. Сомнений быть более не могло. Одиссей стоял на Земле.

А тут еще одно доказательство выплыло из-за туч и непривычно ярким светом озарило окрестности. Ничем другим, кроме Луны, это небесное тело быть не могло.

— Люди! Я вернулся, люди-и-и! — во всю глотку завопил Одиссей. Он упал на колени, прижался лицом к хранящему земное тепло асфальту, пахнущему чем-то неуловимым, возможно, детством, и из глаз хлынули слезы.

Никаких мыслей не было в этот момент в голове бедного космического скитальца, даже память об умершей жене отодвинулась куда-то далеко, словно не смогла поспеть вслед за хозяином, а осталась лишь дикая радость, которую невозможно выразить словами.

27

И неизвестно, сколько бы Одиссей так ликовал, если бы не вспомнил вдруг о штанах.

А он вспомнил о штанах и мигом вскочил на ноги, и его необдуманный крик в ночи резко оборвался. Возникло чувство досады. Ну, стоило ли так безоглядно спешить? Ну, не лучше ли было сперва все хорошенько обдумать? Как и что. Вероятно, следовало прихватить с собой нечто вещественное. Какой-нибудь образец материальной культуры. Ведь Одиссею номер три еще лететь и лететь.

Во всяком разе, одеться надо было обязательно, как ни крути, набедренной повязки для торжественной встречи маловато. Вряд ли на Земле так сильно изменилась мода. Впрочем, как знать.

Одиссей попытался усилием воли создать себе одежду из ничего, но не получилось. Хотя данная задача и не казалась ему сложней предыдущей, решенной с таким блеском. Еще раз он поднатужился, сделал глаза демоническими, еще раз рявкнул: «Штаны!» Но нет. Штаны не образовались.

Сразу зашевелилось сомнение, не остались ли новые способности на Понтее. Так и подмывало еще раз попробовать искривить пространство. Но здравый смысл взял верх. Мало ли, как могло все обернуться. «Ладно, — решил Одиссей, — одежда — не главное. Главное, сориентироваться, наконец, на местности, определить, в какую сторону двигаться. Надо же людей искать, родно какую-нибудь».

Он опять грохнулся на колени, принялся шумно обнюхивать асфальтовую тропу, но запах нефтепродукта перебивал все другие.

Одиссей плюнул. Встал. Отряхнул колени. Но одно понять успел: асфальт лежит давно, растрескал-

ся сильно. Значит, вполне возможно, что людей поблизости нет.

Словом, он не нашел ничего лучшего, как пойти наугад, благо, вариантов было не так много, всего два. Туда — или сюда. На север — или на юг.

Одиссей выбрал юг, потому что всегда выбирал юг, если вставала необходимость выбора. Потом асфальтовая дорожка кончилась, перешла в обыкновенную лесную тропку, пробитую неизвестно кем. Так до рассвета Одиссей одолел, пожалуй, километров пятнадцать — двадцать и здорово притомился. Все же возраст у него был преклонный, и сказывалось напряжение последних дней.

А когда только-только стало светать, то обнаружилось, что уже несколько часов Одиссей движется по лесополосе, обрамляющей прямую, как стрела, магистраль. Видимо, уже что-то происходило с обостренными предыдущей дикой жизнью чувствами, раз не удалось сразу учуять близость транспортной артерии, по которой довольно интенсивно двигался разнообразный транспорт неизвестного принципа действия.

Выждав, когда транспортный поток прервется на момент, что случилось нечасто, Одиссей перемахнул искусственную преграду в несколько гигантских прыжков и вновь скрылся среди деревьев. Лесополоса на противоположной стороне дороги ничем не отличалась от той, которую он только что покинул, но что-то ведь заставило его это сделать.

И здесь, сквозь заросли, когда вот-вот должно было взойти солнце, Одиссей вдруг увидел город. Он его, конечно, представлял несколько по-другому, по-старинному, но едва увидел, признал сразу. Потому что ничем иным то, что открылось глазам, просто не могло быть.

Серебристые сферы, тороиды, эллипсоиды, а также всевозможные комбинации этих пространственных фигур плавали прямо в воздухе, слегка перемещаясь от ветра, но сохраняя взаимное расположение и ориентацию. Окна на этих зданиях двадцать четвертого века зачем-то присутствовали, хотя стены просвечивали насквозь.

А что — Одиссей определенно не возражал бы пожить в этом городе, зря что ли он столько десятилетий мучился и кормил клопов в художественном, но первобытном шалаше!

С величайшей осторожностью, словно выслеживал носорога, Одиссей прокрадся на окраину города, за таился меж ящиков для отбросов, осмотрел окрестность.

Город спал безмятежно. Не было видно ни бродячих домашних животных, ни занимающихся оздоровительным бегом людей. Понятно, другая эпоха диктовала другие правила поведения обитателей планеты, и пока эти правила нравились Одиссею. Но должно же было хоть что-то остаться от прежней жизни!

И, о чудо, самое нужное для сына неба как раз осталось! Посреди одного из дворов Одиссей увидел вкопанные в землю столбики с натянутой между ними веревкой. А на веревке развевались серебристые штаны и серебристая рубашка!

Маскируясь сумерками и припадая к земле, Одиссей одолел открытое пространство, сорвал с веревки нужные предметы и через минуту снова был в своем укрытии. Там он, не теряя даром времени, оделся и перевел дух. И как раз в этот момент захлопали двери подъездов, створки окон, и из них начали выплывать серебристые фигуры, очень похожие на Одиссея, только обутые и в головных уборах, а также за плечами у каждой болтался ранец, который, очевидно, был машинкой для индивидуального летания. Кое у кого в руках можно было видеть маленькие одинаковые чемоданчики.

Пришлось Одиссею идти за летучими людьми пеш-

ком, должны же они были где-нибудь приземлиться. Но очень надеялся, что путь лежит в сторону какого-нибудь административного учреждения, еще не представляя, как заберется в него, если оно тоже парит над землей, как другие объекты.

Идти, к счастью, пришлось не очень долго. Впереди показалась обширная площадь, в которую упирались все улицы, а также и магистраль, соединяющая город с неизвестными пока весями. Посреди площади стоял серый параллелепипед, этажей, может быть, на пятьсот, во всяком случае, его вершина терялась в облаках. Параллелепипед не парил, а казался таким массивным, что после всего виденного возбуждал опасение за стабильность земной орбиты.

Очевидно, он и был центром всякой деятельности. По крайней мере, все горожане устремлялись к нему, влетали прямо в распахнутые настезь окна. А те люди, что прибывали по магистрали издалека, оставляли свои экипажи на площади и шли пешком к центральному подъезду.

Вот с ними-то и смешался Одиссей. Втерся в их плотный поток как ни в чем не бывало. Хотя, конечно, когда он витался, на него глядели с некоторым изумлением. Только здесь, в людском серебристом потоке, он окончательно успокоился, перевел дух, посмотрел сам на себя. Оказалось — ничего. Костюмчик сидел как влитой, кроме того, в нем имелось какое-то устройство для кондиционирования, оно ощутимо грело содержащегося в костюме человека, и это тепло было приятно умиротворяющим. Еще бы башмаки и кепку для полного удовольствия...

Одиссей двигался в людском потоке и думал, как же предъявить себя властям, сразу или после основательной оценки обстановки. После основательной оценки предъявиться было бы, конечно, предпочтительней, но обстановка в любой момент могла выйти из-под контроля, так что имело смысл быть готовым к любой неожиданности...

28

Здание внутри оказалось похожим на Дворец Компьютеров двадцать первого века. Также кругом были какие-то двери и дверцы, тоже какое-то гудение слышалось со всех сторон, тоже пахло изоляцией и озоном, тоже мигали повсюду разноцветные лампочки.

А еще двигались туда-сюда эскалаторы, лифты, что-то приглушенно ухало и ахало под ногами, очевидно, там, в подвальных этажах, размещалось какое-нибудь грандиозное машинное отделение.

Суета в здании была невообразимой. Никто, ну, никто не стоял на месте и минуты! Все двигалось, летало, плавало по воздуху, но движение не казалось броуновым, в нем просматривалась какая-то непонятная до поры осмысленность. И Одиссею оставалось либо тоже двигаться куда-нибудь, куда, как говорилось во времена его незабвенной молодости, кривая выведет, либо остановиться и осмотреться, либо прямо обратиться к первому встречному со всеми возможными вопросами.

Но никто здесь ни о чем ни у кого не выспрашивал, все, по-видимому, всё знали, так что Одиссей тоже предпочел сохранить на лице видимость невозмутимой и абсолютной осведомленности. Так он очутился в кабинке лифта, сплюснутый со всех сторон озабоченным людом. У каждого в руках был маленький чемоданчик, а у Одиссея чемоданчика не было, он просто еще не успел им обзавестись, весь его вид именно это и выражал. Извините, мол, джентльмены, я понимаю, что несколько неприлично выгляжу среди вас босым и с пустыми руками, но миссия моя важная и секретная, а поэтому вы не должны ничему удивляться...

Все это явно выражал вид Одиссея, ну, по крайней мере, ему очень хотелось, чтобы выражал...

Однако никто в лифте не обращал на него никакого внимания, и, вообще, непохоже было, что люди в лифте замечают кого-то, кроме себя. Такие у всех были обращенные внутрь себя лица, словно люди ехали на казнь. И это, конечно, насторожило Одиссея, и он даже захотел скорей покинуть неприятную компанию, но как это сделать на ходу.

Наконец, лифт остановился. И все стали выходить. Очевидно, дальше было просто некуда ехать. Вышел из кабинки и Одиссей, хотя у него было сильнейшее желание не выходить, а, как ни в чем не бывало, поехать обратно.

И тотчас кабинка наполнилась другим народом, в отличие от предыдущего, очень разговорчивым, все говорили сразу, а потому удалось разобрать лишь отдельные, ничего не прояснившие реплики. Одиссей попытался присоединиться к веселым людям, но хитрая дверца захлопнулась перед самым его носом, словно была уполномоченной проводить некий отбор пассажиров. И он остался на плоской, необъятной крыше, похожей на космодром, границы которого терялись в тумане. В смысле, в облаках.

Оказалось, что это и впрямь космодром, правда, старт в космос спустя столетия и на Земле утратил свою былую красочность. И если бы Одиссей совсем недавно не познал на себе такого способа дальних путешествий, ему бы и в голову не пришло, что люди с чемоданчиками исчезают не куда-нибудь, а в космические просторы.

Старт проходил так. Очередной исследователь иномира по команде специальной девушки-распорядительницы становился в очерченный мигающими лампами круг, протягивал руку в сторону нужного ему сектора, напряжинившись всем телом.

А девушка вела обратный счет и при слове «ноль!» взмахивала красным флажком. Космонавт окутывался туманным облаком и исчезал, не принося ни малейшего урона земной экологии. А в круг становился следующий космический призванный.

Невдалеке находился еще один точно такой же круг, куда каждую минуту, наоборот, прибывал исследователь, выполнивший свою программу. Его едва успевали оттащить, потому что следующий возвращенец сваливался чуть ли не на голову. Такова была точность штурманзации.

Эти-то, вернувшиеся, и были разговорчивыми, ибо, во-первых, досыта намолчались в иномирах, а, во-вторых, все опасности уже оставили позади.

И как же сильны были нахлынувшие на Одиссея чувства, если он, не задумавшись ничуть, на миг утратив над собой контроль, решительно шагнул на стартовую площадку без всякой команды!

Конечно, у него не было в руках чемоданчика. Это — раз. Конечно, костюм его без ботинок и головного убора получался неполным. Это — два. Конечно, его не выкликали. Это — три. Но даже если бы эти условия каким-то образом вдруг соблюлись, Одиссею все равно не удалось бы так запросто улететь домой, на Понтей. Потому что за несколько часов на родной планете он стал вообще неузнаваемым.

— Дедушка, дедушка, а вы-то куда?! — заверещала изумленная распорядительница, забыв о мегафоне. Но ее и без мегафона было замечательно слышно.

И мигом подбежали к Одиссею трое ребят, появившихся непонятно откуда, они вежливо, но настойчиво обступили его, взяли под руки и вывели прочь из круга. Сразу собралась толпа любопытных, нарушился, по-видимому, никогда не нарушавшийся график работы учреждения, завывали какие-то сирены, забухал где-то невидимый колокол, словом, переполох поднялся — не приведи господь. И все это из-за Одис-

сея, который пытался вырваться из рук служителей и кричал странные, дикие для жителей двадцать четвертого века слова:

— Я Одиссей! Меня зовут Одиссей! Я вернулся с Понтея, меня не было на Земле триста двадцать пять лет. Запросите главный компьютер.

29

А зря он боялся, зря воровал с веревки* костюм, напрасной была вся его конспирация. Отнеслись к нему на родной планете просто отлично.

Одиссея доставили в какой-то кабинет, дали ему еды, которая, конечно, была пресноватой по сравнению с натуральной едой иномира, но полезные свойства имела бесспорные. После еды возвращенец незаметно уснул и проспал чуть не двое суток кряду. За это время навели о нем нужные справки.

Когда Одиссей проснулся, он не сразу известил об этом находившихся в кабинете людей, а некоторое время понаблюдал за ними украдкой, соображая, нельзя ли как-нибудь улизнуть. Но возможности улизнуть не было, кабинет был переполнен народом, и едва Одиссей решительно распахнул глаза, на него посыпались вопросы, защелкали кино- и фотокамеры, зажужжали магнитофоны. Конечно, эти приборы назывались теперь иначе, но назначение-то у них было прежним. И хорошо, что появился некто, который навел порядок, выгнал всех корреспондентов, сел напротив Одиссея, доброжелательно и располагающе улыбаясь.

— Меня зовут Николаем, — представился он, — можете говорить просто Коля, вы мне в отцы годитесь и даже, строго говоря, в пра-пра-пра... Я здесь служу сменным координатором, встречаю-провожаю исследователей. И считаю, что мне здорово повезло с вами. Ведь из той эпохи еще никто не возвращался. А мы уже восемь лет пользуемся нуль-переходом, исследовали всю галактику насквозь, беремся за другие галактики. М-мда...

Для Одиссея слова земного человека были приятной всякой музыки, он даже вынужден был специально напрягаться, чтобы не упустить сих слов.

— ...А ваше поколение до сих пор в пути, — продолжал также неторопливо Коля, — и перехватить звездолет в пространстве — дело почти невозможное. Да и ненужное. Представьте: вы в виде электронной схемы летите к Земле. А в корабле появляется наш человек, он вас воспроизводит и убеждает покинуть корабль, подбивает совершить фантастический нуль-переход, искривить пространство. Представляете, какой ужас?!

Честно сказать, Одиссей особого ужаса в такой ситуации не усматривал, он побывал в почти такой и совсем недавно, а все равно кивнул на всякий случай.

— ...Ну, так вот. И мы решили ничего не предпринимать. Пусть все идет, как шло. Мы даже не посещаем ваши планеты, чтобы, когда вы начнете возвращаться, не оказалось, что ваши труды и жертвы были напрасны. И не спасаем тех, кто остался в иномирах навсегда, считаем, что нельзя лишать людей высокой трагической судьбы, если они сделали сознательный выбор.

Вероятно, вам, Одиссей, покажутся несколько странными наши моральные принципы, но, думаю, взвесив все не спеша, вы согласитесь с ними...

Одиссей снова кивнул. Еще энергичней и старательней, чем прежде.

— ...По этой же причине вы не должны рассказывать нам ничего о жизни на Понте, хотя, может быть, вам и хочется. Но поверьте, получать преждевременные знания так стыдно, что у меня даже нет слов.

— А может, не стыдно услышать о том, чего

Одиссей-три просто-напросто не может знать? — острожно заикнулся не на шутку огорченный Одиссей.

— Что вы, что вы, боже упаси! — замахал руками Николай, — это тоже очень стыдно, ведь по этой информации мы можем о многом догадаться!

— Но неужели никто не должен знать, как я сюда попал?! — прошептал Одиссей, озираясь по сторонам.

Коля только развел руками. Его лицо пылало, и было ясно, что человек находится на пределе моральных сил, что он вот-вот заклатит глаза, как учуявший прогресс понтеянин.

— Ладно, я буду молчать, — обреченно выдавил Одиссей, и нужно было видеть, как расцвел Коля, как обрадовался он успешному окончанию трудного разговора.

«Чудно, — думал Одиссей, — всего можно было ожидать, но такой гипертрофированной щепетильности — вообще! Это даже и не чудно. Это — подлинное чудо. А если поискать ему научное объяснение?..»

Вот так всегда и везде — хочется чуда, страсть, как хочется, но едва является нечто похожее, сразу возникает неодолимое желание найти научное объяснение, а лучше — опровержение чуда. И оно непременно находится рано или поздно.

30

Потом у Коли закончилось дежурство. Но и его сменщик координатор Глеб оказался не менее целомудренным. Едва только Одиссей по какому-то поводу заикнулся: «А вот у нас на Понтее...» — как этот Глеб, здоровенный мужик, знавший, наверное, не одну тысячу самых разнообразных анекдотов, зарделся, как революционная учительница, замахал на Одиссея руками и даже, кажется, приготовился заткнуть уши. Или рот.

Вот уж, воистину, век учишь, а дураком помрешь. Нипочем не угадать наперед, какие истины и какие ценности будут в наибольшем почете через двести, даже через пятьдесят лет. И тем не менее, с завидной аккуратностью на свет то и дело появляются разнообразные ясновидцы, прорицатели, футурологи, их прогнозы порой бывают весьма популярными, иначе зачем бы платили этим шарлатанам деньги, притом во все времена — неплохие.

Вероятно, причина в том, что мало кому удается совершить прыжок сквозь время и лично убедиться, насколько серьезно может отличаться реальное будущее от всего, что под силу представить самой дикой фантазии. То есть большинство убеждено, что будущее — это настоящее, только лучше или, напротив, хуже.

И было Одиссею просто невольно от насильственного безгласия. Он чего угодно ожидал от родного человечества, но только не этого. Он даже к самому страшному был готов. Ну, например, к тому, что всю власть на Земле захватили какие-нибудь ужасные злодеи, которые станут при помощи пыток добывать из него сведения о Понтее, а он им все равно ничего не скажет.

А получилось вон как. И конечно, когда Одиссея, наконец, выпустили из-под контроля сменных координаторов, когда ему позволили самостоятельно прогуляться по учреждению и пообщаться с его обитателями, он предпринял еще несколько попыток поделиться пережитым.

Куда там! От него все просто шарахались. А одна юная рыженькая девушка, чем-то неуловимо похожая на обеих Пенелоп, даже отчитала старика, едва он прошептал ей на ухо: «А вот у нас на...»

— Как вам не стыдно! — воскликнула рыженькая, отшатнувшись, — а еще пожилой человек! Эх, вы! Вас бы надо отправить до конца жизни на перевоспитание

в Пояс Астероидов! Ведь, я же вам во внуки гожусь! Фу, как мерзко!

Она гневно топнула ножкой и резко повернулась к бедному, съезжившемуся Одиссею спиной. Боже, она еще не знала, кого наломала этому седому, одышливому старикашке! А если бы знала, то, возможно, ее реакция была еще более бурной. Хотя, куда ж еще.

Но все равно, Одиссей испытал к девушке чувство некоторой благодарности. Во всяком случае, от нее первой он узнал о том, что в обществе все еще есть преступники, что есть отработанные способы их перевоспитания.

Это повлияло на его дальнейшую настойчивость, на решимость во что бы то ни стало найти сговорчивого слушателя. Хотя бы одного. В планы бедного возвращающегося совсем не входило посещение Пояса Астероидов, а также и прочих экзотических мест.

Но жизнь кончалась, вот беда! И мысль о том, что придется свою одиссею нести в могилу, казалась невыносимой!

Так бедняга решил прибегнуть к старому, проверенному методу. Он сделал самодельную тетрадь в клеенчатом переплете и стал писать мемуары. Само собой — тайком.

Но его тайну раскрыл координатор Касьян. Он был искренне огорчен такой конспирацией.

— Отстаньте от меня! — агрессивно насканивал на Касьяна припертый к стенке Одиссей, — автономная личность! Кто вы такие, чтобы навязывать мне вашу дурацкую мораль! С какой стати я должен подчиняться ей! У меня свои принципы! И через двести лет, кто знает, возможно они опять станут самыми высокими!

Касьян лишь разводил руками, что, однако, не означало сдачи позиций.

— Видимо, ты, дядя Дусь, патологический тип, — определил координатор, — но я не буду выдавать тебя перевоспитателям. Пусть они сами решают свои проблемы. Так что, как видишь, кое в чем наши принципы вполне согласуются. Но подумай вот о чем: неужели ты хочешь стать общечеловеческим объектом презрения? Ведь другого человечества в данный момент на Земле нет. Неужели ты не понимаешь, что из-за одного тебя мы не можем менять всеобщую мораль?

Этим принципиальный Касьян добил старика. Про тетрадку больше никто не узнал, потому что тетрадку они тут же и уничтожили. Касьян поджигал испорченные листики по одному, а Одиссей тихонько плакал рядом.

От переживаний он даже заболел, стал отказываться от пищи, худеть на глазах. Думали уже — ну, все, помрет возвращенец. А ведь какой орел был в день прилета!

И когда стали размышлять, как его, бедного, хоронить, если что, тогда и вспомнили про так называемый «комплекс для хранения замороженных фигур», который уже не одно столетие не интересовал никого. Проверили — точно, есть в этом заведении очень похожий на Одиссея живомороженный тип. И поручили деликатное дело сменному координатору. Николаю как человеку, первым встретившему возвращенеца, как пользующемуся с его стороны особым доверием.

Одиссей лежал утром, по обыкновению глядя в потолок, когда вошел в лечебную комнату Коля и заговорил нарочито бодрым голосом:

— В общем, так, старик. Ты напрасно надеешься помереть, имея о нашем времени только неприятные впечатления. Нам не хочется, чтобы там, в лучшем из иномиров, ты плохо о нас отзывался. Поэтому, я хотел бы показать тебе кое-что. Полетим на гравиплане, для летательного ранца ты не очень здоров, тем более, для искривления пространства. Впрочем, в пре-

делах планеты искривлять пространство так и так за-
прещено.

— Да не хочу я никуда лететь и не хочу никого
видеть,— занял Одиссей, не открывая даже глаз,—
дайте мне спокойно помереть, изверги!

— Не беспокойся, дядь Дусь, тебе не придется
вставать с постели и вообще напрягаться, твоя кров-
вать — это и есть гравилет, а я воспользуюсь ранцем!
Итак, вперед!

И не успел Одиссей ничего ответить, ничего даже
сообразить не успел, как его кровать воспарила над
полом, развернулась и вылетела в окно. Следом вы-
порхнул Николай. Засвистел в ушах ветер, потянуло
одеяло прочь, Одиссей едва удержал его ослабевшими
пальцами. Учрежденческий параллелепипед стал бы-
стро-быстро уменьшаться, пока совсем не растворился
в легкой дымке.

Двигавшийся недалеко координатор осторожно
подрулил к перепуганному старику, пришвартовался
на краешек постели. Что-то он переключил на спинке
удивительной кровати, и мигом все стихло, прекратил-
ся вой ветра, перестал хлопотать незаправленный край
простыни, одеяло больше не вырывалось из рук с
целью отправиться в самостоятельный полет.

Стало спокойно и уютно, как только что спокойно
и уютно было в лечебной комнате. Но меняющийся
внизу пейзаж подтверждал, что полет продолжается на
той же высоте, с той же скоростью.

Одиссей облегченно откинулся на подушку. Он
уже не ждал от жизни никаких радостей, он хотел лишь
покоя, а больше ничего. Даже мысль о том, удастся
ли встретиться в раю с Пенелопой, а если удастся, то
с которой, общий ли рай во Вселенной, или каждая
планета имеет автономное царствие небесное, даже
эта мысль на некоторое время перестала казаться
неотложной и актуальной.

— Нам лету минут сорок, поэтому давайте пого-
ворим немного, чтобы дорога не показалась такой утомительной,— как ни в чем не бывало продолжил свою
линию Николай,— значит, так. За те годы, что ты нахо-
дился, кгм... в отлучке, мы, человечество, добились
выдающихся успехов. Произошло еще несколько на-
учно-технических революций, в результате которых
неузнаваемо изменился прежде всего сам человек. Мы
стали еще более неуязвимыми для болезней, научи-
лись шевелить мозгами лучше любого компьютера,
наловчились с помощью психической энергии искрив-
лять пространство, синтезировать из окружающих ве-
ществ любые предметы не хуже архаичных биопри-
ставок, пользование которыми, кстати, признано аморальным.

Мы вплотную приблизились к тому, что называется
«абсолютным счастьем». В сущности, осталось только
руку протянуть...

— В чем же дело,— подал слабый голос Одиссей,
хотя его так и подмывало сказать, что насчет «абсо-
лютного счастья» он уже изрядно слышан,— протя-
нули бы!

Он, оказывается, еще был способен к едкой
иронии.

— Вот-вот! — обрадовался Коля, — я знал, что ты
усомнишься! Не буду тебя разубеждать. Я, собствен-
но, хотел сказать о другом. О судьбе того, от кого
ты произошел. Или тебя это совсем не интересует?

Одиссей аж сел на кровати. Конечно, его интере-
совала судьба первого номера! Еще как! Но он к этой
теме даже подступиться боялся. Тоже думал — этика.
И про родню не заикался, раз родня сама не объ-
являлась.

Тут Коля угадал его последнюю мысль, посуровел.

— Не обессудь, но корень твой слабым оказался.
Род угас через сто восемьдесят лет после твоего убы-
тия. Времена-то были неблагоприятные, секс-залы взо-

рвали, пуританство расцвело махровым цветом, все
еще последствия ощущаются, а в твоём роду были,
как ты помнишь, одни девицы. Притом не красавицы...
Не обессудь...

Да не бери ты в голову! Черт с ними, с потомка-
ми, зато с оригиналом можно встретиться! — вновь
воссыл координатор.

— Как же?! — выдал Одиссей мгновенно сев-
шим голосом.

— А так! После твоего убийства открыли способ за-
мораживания живых людей на сколь угодно длитель-
ное время. С последующим размораживанием. Твой-то
Одиссей-один, когда старуха умерла, возьми — и за-
морозься! До своего возвращения! Понял?!

Одиссей чуть не вывалился из гравилета. Вернее,
вывалился, только пятки сосверкали, но Коля его пой-
мал и обратно посадил. Да еще и пристегнул чем-то.

— Не спеши, старик! — хлопнул он сына неба по
спине, — поживи еще! Мы туда в аккурат и летим,
где замороженные в ящиках лежат. Много их! Но тво-
его уже наши и от пыли протерли.

— Амн-н... — начал было старик, заикаясь.

— Нет, — коротко и строго сказал Николай, — по-
нимаю, что у него такая же этика, как и у тебя. Но —
нет. И ему ничего нельзя рассказывать. Он может по-
ведать тебе о своей жизни, а ты — ни-ни.

Вот если бы ваш третий прилетел — тогда бы по-
жалуйста. Тогда бы можно было объединить три одис-
сеи в одну...

Старик умолк до конца полета.

31

Потом внизу показались сооружения, похожие на
теплицы, каких немало было на Земле, пока не научи-
лись добывать все на свете из воздуха. Гравилет быст-
ро пошел на снижение.

А Одиссей, похоже, окончательно передумал уми-
рать. На его впалых щеках заиграл румянец, в глазах
появился блеск интересующегося жизнью человека.
Он проворно откинул одеяло, сдернул со спинки гравилета уже совсем привыкшие к нему серебристые
опорки, рубаху. Надел все это на себя, подумал, что
одежда за последние дни стала катастрофически выра-
стать из него. «Куда идти-то?» — спрашивал его нетер-
пеливый взгляд.

— Пшли, — коротко бросил координатор и двинул
первым сквозь какие-то заросли.

Оказалось, что «теплицы» очень строго охраня-
ются. Несколько раз их останавливали и люди, и ро-
боты, причем, роботы были старинной, известной
Одиссеею конструкции. Николай вполголоса произносил
пароль, предъявлял какой-то пропуск, вставлял в
ходячие компьютеры специальные пропускные кар-
точки.

Наконец, они вошли внутрь специального соору-
жения. Там их встретила строгая женщина в прозрач-
ном гермашлеме, она заставила посетителей тоже на-
деть такие шлемы, заставила расписаться в какой-то ве-
домости и только после этого повела по узкому про-
ходу, по обеим сторонам которого плотно-плотно стоя-
ли прозрачные саркофаги. В шесть ярусов до самого
потолка. И в каждом саркофаге находился человек.
И каждый саркофаг имел табличку с указанием потом-
кам и порядковым номером.

Одиссей и Николай переглянулись. Им было явно
не по себе среди такого большого количества заживо
замороженных. А женщина шла и шла вперед, как ни
в чем не бывало.

— Часто у вас бывают посетители? — напустился
вступить в радиосвязь Одиссей, вероятно, ему было
неловко молчать в этом крайне невеселом заве-
дении.

— У нас вообще не бывает посетителей! — ответствовала хозяйка «теплицы», не повернув головы.

— А родственники? — не отставал старик.

— Три века прошло, какие родственники могут быть?

Одиссей снова глянул на координатора. «Вот так!» — читалось в его глазах.

«Тебе-то какое до этого дело?» — отвечал также глазами Николай.

— А кто тут заморожен? — еще раз насмелился Одиссей после паузы, — что за контингент?

— Есть всякие, эта идиотская мечта попасть в будущее была болезнью века, но, в основном, здесь, конечно, исследователи иномиров. Ждут свои копии, словно так можно продлить драгоценную жизнь.

Вскоре отыскался нужный номер. Он находился на последнем, шестом ярусе. Напряжение достигло максимума. Одиссей волновался ужасно. А Коля выражал полную солидарность с ним.

Подкатил кран-штабелер, подхватил нужный груз за специальные петли, поволок в особую комнату, которая так и называлась: «Комната для встреч и разлук».

— Раньше-то, — вдруг сочла нужным пояснить служительница, — в древности, замороженных навещали близкие, была такая традиция, так что комната, в основном, рассчитывалась на них.

Наконец, саркофаг был установлен на большом, покрытом пластиком столе. Дверь в хранилище затворилась.

Одиссей во все глаза глядел на себя — земного. За какие-то секунды туча мыслей пронеслась в его голове. Даже не удалось ни одну запомнить. Все смешалось. Отпечаталось только: Одиссей-один — вовсе не точная копия Одиссея-два! В этом не было и тени сомнений. Выходит, бытие определяет не только сознание, но и внешность.

— Размораживать-то будем, — спросила служительница, — или поглядите только?

Одиссей вопросительно уставился на координатора. В его глазах была мольба.

— Тебе решать, — пожал плечами координатор, — этика не воспрещает. Думаю, вам будет полезно поговорить, погулять, залежаться, небось, твой родственник. Впрочем, хозяин — барин...

Служительница включила какой-то рубильник на стене, замигали лампы, зашелкали реле.

— Процесс размораживания продлится около часа, зрелище не из приятных, — проинформировала она. — Можете, если хотите, выйти на воздух...

— Ничего, мы лучше посмотрим, — ответил старик за себя и за координатора. Вспомнил его решительное «Тебе решать!» и решил.

32

Процесс размораживания начался, но, вероятно, он никого, кроме Одиссея, по-настоящему не заинтересовал. Координатор смотрел в окно, женщина щелкала тумблерами, и лишь сам возвращенец не сводил глаз с прозрачного ящика.

Минут двадцать там вообще нельзя было разглядеть каких-либо изменений, только потом что-то стало происходить. Покрылось испариной лицо. Закуржавели брови и ресницы. Потом лицевые мышцы пришли в произвольное движение. Ткани оттаивали неравномерно, и человек, лежавший в саркофаге, стал корчить рожи. Порой довольно жутковатые. Затем, под плотно затворенными веками, чуть приоткрылись глаза. Но мысли там еще не было. И это показало Одиссею самым страшным. Остальное — так себе.

А где-то после пятидесяти минут оттаивания весь ящик ходил ходуном и перемещался по гладкому сто-

лу в разных направлениях, хорошо, что стол имел достаточные размеры. Лицо оживляемого было диким, он бился что есть мочи в тесном пространстве, и казалось, что прозрачный ящик вот-вот не выдержит и разлетится на мелкие кусочки.

Наконец, глаза приобрели почти осмысленное выражение, и в них был ужас. Видимо, человек, обнаруживший себя в такой упаковке, но еще не успевший войти в память, ужасался противоестественным своим положением.

Одиссей больше не мог бесстрастно наблюдать за страданиями не чужого для него человека. Он повернулся к людям, и на лице его без труда прочитывалась мука. Такая мука, что даже суровая исполнительница службы не смогла ее проигнорировать.

— Не волнуйтесь, возьмите себя в руки, — сказала она, — я же вас предупредила. Сейчас мы его усыпим, и он забудет об этих мучительных мгновениях. А открывать саркофаг еще рано. Температура недостаточна.

Она опять произвела какие-то переключения, Одиссей-один резко дернулся, словно его убили, и стал затихать. Искаженное страхами и болями лицо разглаживалось, становилось спокойным, умиротворенным.

Крышка пластикового гроба бесшумно откатилась. Одиссей-один безмятежно спал на поролоновом матрасике.

— Можно будить, — донеслось до возвращенца.

Стукнул опущенный в исходное положение рубильник. Прекратилось гудение, щелканье, погасли лампы. Одиссей сделал над собой значительное усилие, коснулся лица двойника. И сразу отдернул руку.

— Холодный! — воскликнул он в страхе.

— Ничего, — успокоила служительница, — еще не прогрелись периферийные ткани, но это пустяки, объект уже всюю живет. Температура внутренних органов нормальная. Да не церемоньтесь с ним, растапливайте, ему же надо двигаться, разминаться!

Подошел Николай и стал решительно растапливать пришельца из прошлого. Одиссей помогал координатору довольно робко, словно и впрямь тряс самого себя. Наконец их усилия дали результат.

— Что, уже?... Уже двадцать шестой век? — это были первые осмысленные слова пробужденного.

Он обвел глазами присутствующих. К радости во взгляде примешивалось некоторое беспокойство, словно стоило о чем-то беспокоиться, если самое главное совершилось — проснулся живым и невредимым!

— Ты, что ли, я? — спросил он Одиссея-два в упор и уперся в его грудь сухим старческим кулачком, — а почему такой старый? Тебе же должно быть лет двадцать пять-двадцать шесть? Случилось что-то? И кто эти люди? Потомки? Пра-пра-пра-правнуки? А чего они такие кислые? Не рады, что ли? Да не томи душу, отвечай, старый хрен!

Возвращенец беспомощно оглянулся, Коля промаячил ему что-то, по-видимому, насчет соблюдения морально-этических норм.

— Ну, во-первых, сам ты старый хрен, а во-вторых, — замылся Одиссей-два, — понимаешь, я все тебе объясню. Позднее... Ты хоть отогрейся немного, пойдем на улицу, там хорошо. И не ломай зря голову, а то раньше времени помрешь.

Но Одиссей-один и так уже был спокоен. Он видел, что Земля цела, что за окном светит солнце. Что перед ним такие же люди, каких он оставил в прежней жизни, а его двойник — не пацан сопливый, но умудренный жизнью человек, у которого он получит ответы на все вопросы. Действительно, спешить теперь некуда. И старик стал кряхтя вылезать из саркофага.

Окончание следует



Ольга
КНЯЗЕВА

ВИКТОРИНА-90

Обзор ответов

Став многовариантной, наша викторина неизбежно отяжелела и разрослась,— мы лишний раз убедились в этом, готовя традиционный обзор для декабрьского номера. Усложнилась обработка ответов, проверка и перепроверка их, подготовка итогового материала, сам этот материал стал чересчур громоздким — оттого-то и пришлось часть полностью набранного обзора переносить в этот номер. Оттого же, собственно, в новой викторине мы вернулись к двум вариантам — хотя и предвидим определенное неудовольствие отдельных читателей...

Тур I-B

Я начал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям.

Э. По. Золотой жук

Ответов на вариант с криптограммой в этом году поступило уже почти столько же, сколько и на вариант «А» (31 школьник и 66 взрослых), хотя результаты ненамного успешнее прошлогодних. Возможно, слишком поздно появилась «подсказка» — разбор и подробное объяснение секретов подобных заданий были напечатаны лишь в апрельском номере. Тем не менее, 4 школьника набрали более 15, а 5 взрослых — более 25 баллов. Успешнее всех ответили А. Цеменко (Керчь; 26,0) и Елена Ларченко (Челябинск, 8 класс; 20,5).

Надеемся, что теперь-то рассказ о первой нашей криптограмме про-

читан, поэтому ограничимся конкретными ответами и некоторыми особенностями нынешней задачи.

Прежде всего — «литературная часть».

Все отвечавшие в этот раз разделили текст на четыре части и, по видимому, не встретили особых затруднений в поисках «первоисточников». Рассказ В. Колупаева «Газетный киоск» (цитата перед криптограммой и после нее, кончая словами: «...написано удивление») назвали 3 школьника и 32 взрослых; многие газета вспоминается мгновенно. Следующий отрывок (вплоть до «...неведомой грамоты») 20 человек, в том числе 4 школьника, нашли в рассказе А. Беляева «Амба». Дальнейший текст перед конкретными вопросами участники, 19 школьников и 44 взрослых, легко обнаружили в «Странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда». Р. Стивенсона. Наконец четвертый отрывок (весь текст после вопросов) 3 школьника и 23 взрослых отыскали у М. Пухова в рассказе, имеющем два названия: «Звездный дождь» и «Точки для прямой» (в зачет шло любое из них).

— Прежде всего, — сказал дядюшка, — надо высчитать язык «шифра». Это не должно представлять затруднений.

Ж. Верн.

Путешествие к центру Земли

Для многих это действительно было несложно: они быстро поняли, что ответы на вопросы 1—8 должны быть цифрами или числами (хотя кое-кто и счел почему-то невозможным появление одинаковых цифр в разных вопросах). Самыми легкими оказались 1-й и 4-й, а самым сложным — 8-й (это нас, признаться, очень удивило). Итак...

1. Планета Цельсий-5 (Р. Шекли. Обмен разумом) была достигнута без приключений: на вопрос в той или иной мере ответили 19 школьников и 58 взрослых.

2. Определить объединяющую произведения тему несложно: контакт человека и некой Разумной Жидкости (причем «объем» ее заметно убывает: Океан у Лема, Море у Гуляковского, лишь Озеро у Г. Темкина). Труднее оказалось выбрать нужное произведение. Забыв о поисках «ключа» (или не поняв задачи), 16 взрослых и 6 школьников предложили «Кораллы Кайобланко», по два участника из обеих групп назвали «Шестой трофей» (а здесь «не та» цифра), двое взрослых просто указали нужное число. Правильно ответили, назвав «Двадцать шестой сезон», 52 человека (16 школьников).

3. Эту цифру, вообще-то, можно было вывести логическим путем

(что и сделали 12 человек) — и получить часть баллов. Однако довольно многие из 33 взрослых и 10 школьников не только назвали рассказ А. Азимова «Улики» из цикла «Я, робот», но и привели ответ в виде цитаты: «Она медленно и отчетливо прочла на память, слово в слово, знаменитые Законы, напечатанные крупным шрифтом на первой странице Руководства по роботехнике...» (в новейших переводах — «по робототехнике»).

4. Небольшой рассказ К. Кэппа «Посол на Проклятую» запоминается неординарностью способа контакта с инопланетным разумом: послом был аккредитован... сын капитана-администратора. «Возраст... двадцать семь дней или что-то в этом роде. Он уже становится староват для этой работы...» Из отвечавших 7 назвали только число, 5 — название рассказа или его автора. 68 человек (взрослых — 48) дали полные ответы.

5. Вопрос о количестве писателей оказался самым коварным. Хотя и есть в письмах версия о том, что все это имена героев НФ, основная путаница возникла из-за разночтений в биографиях, помещенных в различных сборниках, старых и новых. А истина (известная 29 взрослым и 4 школьникам) состоит в том, что приведенные фамилии — псевдонимы двух писателей: американских супругов-соавторов Кэтрин Мур и Генри Каттнера.

6. Отыскать центральный кратер темпор-объекта достаточно просто, и 57 человек (15 школьников) легко выяснили, что его номер — 666. Кстати, одна из глав второй книги романа С. Павлова «Лунная радуга» так и называется: «Кратер № 666».

7. Произведение и автора (К. Саймак. Театр теней) нашли 62 человека, но лишь 12 школьников и 44 взрослых привели и число. «Их было девять — девять человек и девять персонажей»...

8. На этот легкий, в общем-то, вопрос полностью смогли ответить только 14 участников викторины (из школьников — 1). По 3 человека из каждой группы назвали нужное число, 8 — только «Голубятню на желтой поляне» В. Крапивина; верно получив цифру 5, без долгих раздумий 10 читателей назвали у В. Шефнера «Человека с пятью «не». Но дело-то не просто в цифре, а в ситуациях, которые она объединяет. Поэтому верный ответ — «Лачуга должника». Сравните: «Притворяешься, что не знаешь, что пять — недоброе число. Разве можно садиться влятером за один стол или под один парус?! Наверняка жди беды» (В. Шефнер). И у В. Крапивина: «Всем на свете людям известно, что пять — это всегда не к добру. Во всех случаях жизни».

— Очень интересно, как вы будете действовать дальше,— заметила Анна.— Я пока не понимаю...

Ю. Долгушин.
Генератор Чудес

А дальше — чисто техническая работа, которую почему-то сумели выполнить лишь немногие. В отличие от прошлого года, все было даже проще: ответ на все вопросы давали 8 чисел (или 12 цифр), которые пишутся под буквами зашифрованного текста. Затем продельвается несложная операция: от каждой конкретной буквы нужно отступить назад по алфавиту в соответствии с цифрой, стоящей под нею (следует иметь в виду, что при печати книга буква «ё» обычно не используется, и ее надо пропускать при подсчетах). С этой работой успешно справились лишь 14 человек, и только половина из них (в том числе 1 школьник) определила происхождение отрывка.

А зашифровано было вот что: «Хэдфилд отозван. Нам только что сообщили, что отдел межпланетных исследований обязал главного управляющего вернуться на Землю «Аресом», который вскоре покидает Деймос. Объяснений нет». Объяснение можно найти в «Песках Марса» А. Кларка — вряд ли вопрос труднее тех, что обычны в варианте «А».

Особенностью криптограммы этого года было то, что ответом на некоторые вопросы (2, 4, 6) являлись не цифры, а числа. Это осложняло работу, если разгаданы были не все задачи, но все же не делало ее безнадежной, хотя при полном отсутствии каких-либо «зацепок» попытки применить здесь частотный анализ неэффективны (в отличие от шифров, в криптограммах буквы алфавита не имеют какого-то определенного знака, а приобретают разные — в соответствии с «ключом»). Кстати, хотелось бы заметить, что неоднозначность ответов (вопросы 2, 5, 8) является не ошибкой, а частью задачи: верное решение выбирается «путем от противного», становится ясным при расшифровке текста.

Вот и все о туре 1-Б. Осталось только извиниться за досадную опечатку в радиогамме («б» вместо «а» в слове «межпланетный»). Поскольку в этом году количество сторонников задач подобного типа увеличилось, мы и в следующей викторине один из вариантов предложим в виде криптограммы; но будем рады воспользоваться и другими интересными идеями, если таковые к нам поступят.

Тур III

Все это, вместе взятое, составляло крайне интересную проблему, над которой можно долго и плодотворно размышлять. При наличии достаточного времени, скажем, нескольких недель...

Р. Шекли. Варианты выбора

Время, время... Если в первых турах оно упоминается как бы между прочим, то рассуждения о его нехватке мы иногда обнаруживаем вместо третьего тура. Тем не менее, пусть в разной степени плодотворно, 33 школьника и 90 взрослых поразмышляли над проблемами, предложенными в 1-й части тура, а 76 человек (среди них 18 школьников) попытались сформулировать и раскрыть поисковые темы в развитии вопросов тура 1-А.

На конкретные цитаты 1-й части, задающие направление поисков, ответить смогли не все. Больше всего повезло профессору Куигли: повесть Р. Янга «У начала времен» назвали 14 школьников и 41 взрослый (еще 14 человек разрабатывали тему анахронизмов в НФ, так и не обнаружив источник цитаты). Тема эмоциональности роботов заинтересовала 38 участников викторины, хотя только 9 взрослых нашли произведение, из которых взяты отрывки: первый тезис выдвинул П. Энтони («Не кто иной, как я...»), а второй — К. Саймак («На Землю за вдохновением»); к слову сказать, эти два рассказа помещены рядышком в сборнике «Шутники». Что же касается темы выборов в НФ, источник цитаты — роман Е. Замятина «Мы» — узнали 3 школьника и 22 взрослых (из 30 отвечавших на этот вопрос).

— Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла! Что вы будете с этим делать! Вы все узнаете и узнаете, и ничего не делаете с тем, что узнаете.

А. и Б. Стругацкие.
Жук в муравейнике

Теперь о рефератах (тур III-2). Приятно, что в этой викторине вопросы тура 1-А оказались почти все достаточно перспективными: на основе 21 из 26 велась поисковая работа. В результате мы стали обладателями довольно полной «драконо-» и «ведьмографии» (25 рефератов), неплохо осведомлены о «встречаемости знаменитых людей в НФ» (в развитие 6 и 9 вопросов вели работу 7 человек), а также многое узнали о марсианах, о способах передвижения в космосе, о фантастическом оружии, туннелях, «Буране», ритмической гим-

настике и женщинах в космосе, освоении Меркурия и Деревьях Жизни...

К сожалению, не все поняли, в чем состоит это задание: придумывая, например, какой-либо конкретный вопрос и отвечая так же конкретно, иные из читателей удивляются простоте и скудности задания. Ограниченность «жизненного пространства» не позволяет нам печатать все достойные того исследования участников викторины, но все-таки удается в течение года показать читателям несколько интересных работ. Надеемся, они помогут и остальным сориентироваться, что представляет из себя тур III-2.

А мы благодарим тех, кто, настаивая на расширении исследовательской части викторины, одновременно понимает наши трудности и в связи с ними высказывает мнение, близкое — если не идентичное — тому, что написал А. Тильман (Калининград Московской обл.): «Ничего, если в журнале не хватает места для рефератов и исследований. Пусть они поступают в редакцию, а в дальнейшем, дай-то бог, появится у советских фэнов свой собственный журнал... Вот тогда и пригодится это «литературное наследие»...»

КАК РЕШИМ, ФЭНЗИНЕРЫ!

Вначале — письмо:

Обращаемся к вам с просьбой-предложением об учреждении специального приза либо ежегодной премии за лучший фэнзин года. Было бы справедливым вручать такой приз на «Аэлите» — наиболее представительном съезде фэнов и профсоюзных.

Готовы оказать любую сильную помощь...

Виктор Нусс,
координатор КЛФ
«Джидай» (Алма-Ата)

А теперь — вопрос к редакторам издателям-читателям-критикам любительских журналов: как решим? Учреждаем? Или — воздержимся?

Время до ближайшей «Аэлиты» пока есть: подумайте, взвесьте все «за» и «против», и если — «за», то — напишите нам (пометив на конверте: отдел фантастики, «Фэнзин»): по каким, на ваш взгляд, параметрам определять призера? кого ввести в жюри из фэнзинеров, кого — из окружающей их среды? все-таки: приз или премия? если приз, то какой конкретно (если премия — тоже)? и — как его назвать?

И, наконец, как конкретно реализовать всю эту процедуру выдвижения-ознакомления-обсуждения претендентов, присуждения и вручения нового приза?

На перекрестках времени: год 1991-й

Помещаем краткий список памятных дат НФ (как и в прошлом году — не поместившийся, к сожалению, в нашем январском номере). Составить его нам помогли В. Окулов (Иваново), Л. Выставкин (Москва), И. Матвеевская (Алабино Московской обл.), В. Ткачек (Белз Львовской обл.) и ряд других наших читателей.

Январь, 8. 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Владко (1901—1974), украинского писателя, автора книг «Аргонавты Вселенной», «Потомки скифов» и др.

Январь, 12. 115 лет со дня рождения Джека Лондона (1876—1916), известного американского писателя, неоднократно обращавшегося к НФ.

Январь, 13. 105 лет со дня рождения Фатиха Зарифовича Амирхана (1886—1926), татарского писателя и публициста, автора НФ повести «Пресвященный Фатхулла» (1909).

Январь, 24. 215 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822), немецкого писателя-романтика. 175 лет его роману «Эликсиры сатаны».

Январь, 27. 210 лет со дня рождения Адельберта Шамиссо (1781—1838), немецкого ученого и писателя, автора повести «Необычайная история Петера Шлемияля» (1814). 150 лет первому русскому ее переводу.

Январь, 27. 165 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—1889), великого русского сатирика, в своем творчестве охотно обращавшегося к фантастике.

Январь, 27. 100 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891—1967), известного советского писателя, автора фантастического романа «Трест Д. Е.» (1923).

Февраль, 17. 135 лет со дня рождения Жозефа Анри Рони-стар-

шего (1856—1940), французского писателя, автора НФ произведений на биологические темы («Ксипехузы», «Удивительное путешествие Гертона Айронкестля» и др.). 80 лет его «доисторическому» роману «Борьба за огонь».

Февраль, 21. 145 лет со дня рождения Сватоплука Чеха (1846—1908), чешского писателя, автора повестей о путешествиях пана Броучека на Луну и в XV столетие.

Март, 3. 75 лет со дня рождения Лайоша Мештерхази (1916—1979), венгерского писателя, автора романа «Загадка Прометея» и др. НФ произведений.

Март, 8. 230 лет со дня рождения Яна Потоцкого (1761—1815), польского писателя, автора романа «Рукопись, найденная в Сарагоссе» (1804).

Апрель, 16. 75 лет со дня рождения Евгения Павловича Брандиса (1916—1985), литературоведа и критика, много сделавшего для развития отечественной НФ.

Апрель, 27. 115 лет со дня рождения Клода Фаррера (1876—1957), французского писателя, автора романов «Обреченные», «Дом людей живых» и др. НФ произведений.

Май, 15. 100 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940), известного советского писателя, автора НФ повестей, пьес, романа «Мастер и Маргарита».

Май, 22. 100 лет со дня рождения Иоганнеса Роберта Бехера (1891—1958), немецкого писателя и общественного деятеля. 65 лет его роману «Люизит».

Май, 28. 100 лет со дня рождения Константина Константиновича Арцеулова (1891—1980), летчика и художника, иллюстратора НФ.

Июнь, 22. 135 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856—1925), английского писателя, автора историко-фантастических романов «Мечта мира», «Она», «Копи царя Соломона» и др.

Июнь, 26. 60 лет со дня рождения (1931) Колина Уилсона, английского писателя и философа. 25 лет его роману «Паразиты сознания».

Июль, 14. 100 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891—1977), автора популярной сказочной серии, писавшего и НФ («Приключения двух друзей в стране прошлого», «Тайна заброшенного замка»).

Июль, 17. 100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (1891—1959); известного советского писателя, автора романа «Крушение республики Итль» (1925).

Август, 7. 75 лет со дня рождения Виталия Григорьевича Мелентьева (1916—1984), автора НФ книг для детей «33 марта», «Черный свет» и др.

Август, 17. 245 лет со дня рождения Василия Алексеевича Левшина (1746—1826), автора сатирической утопии «Новейшее путешествие» (1884), где впервые в отечественной литературе описан полет на Луну.

Август, 21. 120 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871—1919), известного русского писателя, обращающегося и к фантастике («Дневник Сатаны» и др.).

Сентябрь, 1. 80 лет со дня рождения (1911) Михаила Петровича Михеева, новосибирского писателя, автора книг «Вирус В-13», «Милые роботы», «Год 16.» и др.

Сентябрь, 2. 85 лет со дня рождения (1906) Александра Петровича Казанцева, известного советского писателя-фантаста. 50 лет первому его роману «Пылающий остров».

Сентябрь, 4. 115 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Мстиславского (1876—1943), автора романа «Крыша Мира» (1925).

Сентябрь, 12. 70 лет со дня рождения (1921) Станислава Лема, польского писателя и философа. 40 лет его первому НФ роману «Астронавты», 30 лет — «Солярису» и «Возвращению со звезд».

Сентябрь, 14. 85 лет со дня рождения Леонида Дмитриевича Платова (1906—1979), автора известной дилогии «Повести о Ветлугине» и др. НФ произведений.

Сентябрь, 18. 85 лет со дня рождения Семена Исааковича Кирсанова (1906—1972), известного советского поэта, автора НФ поэм «Поэма о Роботе», «Герань-миндаля-фиалка», «Ночь под Новым веком» и др.

Сентябрь, 19. 80 лет со дня рождения (1911) Уильяма Джералда Голдинга, английского писателя-философа, автора романов «Повелитель мух», «Наследники» и др.

Сентябрь, 21. 125 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866—1946), английского писателя, одного из родоначальников современной НФ.

Октябрь, 15. 85 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Мартынова (1906—1983), автора романов «Каллисто», «Звездоплаватели», «Гигант» и др.

Октябрь, 21. 95 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896—1958), известного советского драматурга-сказочника, автора пьес «Приключения Гогенштауфена», «Тень», «Дракон» и др.

Ноябрь, 11. 170 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821—1881), великого русского писателя, неоднократно обращавшегося к фантастике («Сон смешного человека», «Бобок» и др.).

Ноябрь, 18. 95 лет со дня рождения Юрия Александровича Долгушина (1896—1989), автора известного

романа «Генератор чудес» и др. НФ произведений.

Декабрь, 8. 130 лет со дня рождения Жоржа Мельеса (1861—1938), французского кинорежиссера, родоначальника кинофантастики («Путешествие на Луну», 1902; «Путешествие через невозможное», 1904 и др.).

Декабрь, 10. 100 лет со дня рождения Ефима Давыдовича Зозули (1891—1941), известного в прошлом писателя, охотно обращавшегося к фантастике («Эпоха», «Мастерская человеков» и др.).

Декабрь, 27. 420 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571—1630), выдающегося немецкого астронома, автора фантазии «Сон» (издана посмертно в 1634 г.).

Кроме того, в наступившем году исполняется:

95 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Брагина (1896—1972), автора книг «В стране дремучих трав» и «Искатель утраченного тысячелетия»; Николая Николаевича Шпанова (1896—1961), автора романов «Война невидимок», «Ураган» и др.; американского писателя-фантаста Мюррея Лейнстера (1896—1975);

90 лет со дня рождения украинского писателя Семена Дмитриевича Склярченко (1901—1962), автора НФ романа «Пролог» (1937);

85 лет со дня рождения Михаила Константиновича Розенфельда (1906—1942), автора книг «Морская тайна» и «Ущелье алмазов»; Георгия Павловича Тушкана (1906—1965), автора книг «Разведчики зеленой страны» и «Черный смерч»; итальянского писателя-фантаста Дино Буццати (1906—1972); американских фантастов Фредерика Брауна (1906—1972) и Роберта Говарда (1906—1936);

80 лет со дня рождения Михаила Прокопьевича Белова, автора романа «Улыбка Мицара» и др. книг; Николая Владимировича Томана (1911—1974), автора книг «История одной сенсации», «Говорит Космос!» и др.; американского писателя-фантаста Джека Финнея;

75 лет со дня рождения Петрония Гая Аматауни (1916—1982), автора романа-трилогии «Гаяна»; Михаила Николаевича Грешнова, автора книг «Обратная связь», «Волшебный колодец» и др.; Ариадны Григорьевны Громовой (1916—1981), автора повестей «Поединок с собой», «В круге света» и др.; Наталии Викторовны Соколовой, автора романа «Осторожно, волшебное!» и др. произведений;

70 лет со дня рождения украинского писателя Николая Александровича Дашкиева (1921—1976), автора книг «Торжество жизни», «Зубы дракона» и др.; американского фантаста Джеймса Блиша (1921—1975); швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта; румынских фантастов Владимира Колина и Адриана Рогоза;

65 лет со дня рождения Генриха Сауловича Альтова, автора книг «Опалющий разум», «Создан для бури» и др.; литературоведов Анатолия Федоровича Бритикова и Юлия Иосифовича Кагарлицкого; Глеба Николаевича Голубева, автора повестей «Огненный пояс», «Гость из моря» и др.; Владимира Алексеевича Рыбина, автора книг «Здравствуй, Галактика!» и «Гипотеза о сотворении»; американского фантаста Пола Андерсона; шведского писателя Пера Вале (1926—1975); немецкого писателя Джеймса Крюса, автора известной повести «Тим Талер, или Проданный смех»; чешского писателя Йозефа Несвадбы;

60 лет со дня рождения Геннадия Арсентьевича Емельянова, автора книг «Истины на камне» и «Две встречи»; Владимира Наумовича Михановского, автора романа «Шаги в бесконечности» и др. книг; художника-фантаста Андрея Константиновича Соколова; Наталии Алексеевны Сухановой, автора книг «В пещерах мурозавра», «Многоэтажная планета» и др.; болгарского писателя Василя Райкова; японского фантаста Саке Комацу; румынского фантаста Иона Хобаны; английского фантаста Боба Шоу;

50 лет со дня рождения Шокана Казбаевича Алимбаева, автора романа «Формула гениальности»; Александра Николаевича Житинского, автора романа «Потерянный дом» и др. произведений; Геннадия Мартовича Прашкевича, автора книг «Разрванное чудо», «Пять костров ромбом» и др.; шведского фантаста Сама Лундвала.

Исполняется также: **475 лет** знаменитой «Утопии» Т. Мора (1516); **265 лет** роману Д. Свифта «Путешествие Гулливера» (1726); **250 лет** роману Л. Хольберга «Подземное путешествие Николая Клима» (1741); **170 лет** первому русскому переводу (1821) утопии Ф. Бэкона «Новая Атлантида»; **125 лет** роману Ж. Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (1866); **100 лет** социалистической утопии В. Морриса «Вести ниоткуда» и роману О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891); **95 лет** роману Г. Уэллса «Остров доктора Моро» (1896) и **90 лет** его роману «Первые люди на Луне» (1901); **80 лет** роману Х. Гернсбека «Ральф 124С 41+» (1911); **65 лет** первой НФ книге А. Беляева «Голова профессора Доуэля» (1926) и **50 лет** его последнему роману «Ариэль» (1941); **45 лет** первым повестям Г. Гуревича «Человек-ракета» и В. Немцова «Огненный шар» (1946); **30 лет** повести А. и Б. Стругацких «Полдень, XXII век» и роману Е. Войсунского и И. Лукодянова «Экипаж «Меконга» (1961); **25 лет** первой книге трилогии С. Снегова «Люди как боги» и первой повести П. Багряка «Кто?» (1966).

Наконец, можно отметить, что **75 лет** назад начал выходить первый в Швеции журнал НФ «Хугин»; **130 лет** исполняется журналу «Вокруг света» и **30 лет** выходит приложение к нему — журнал «Искатель»; **65 лет** исполняется журналу «Знание — сила», **35 лет** — «Юному технику».

В завершение упомянем, что в этом году исполнится **10 лет** нашей премии «Аэлита» и столько же — премии «Юго-Хьюго» (Югославия).

Необходимый постскриптум

Итак, вы прочитали уже второй выпуск «Аэлиты». Нашего журнала в журнале...

По настоянию читателей мы не отказываемся от тетрадей, которые можно было изымать и по завершении журнального года переплетать в книгу, получая тем самым все увеличивавшийся в объеме сборник фантастики (в 1990-м он достиг 270 журнальных страниц).

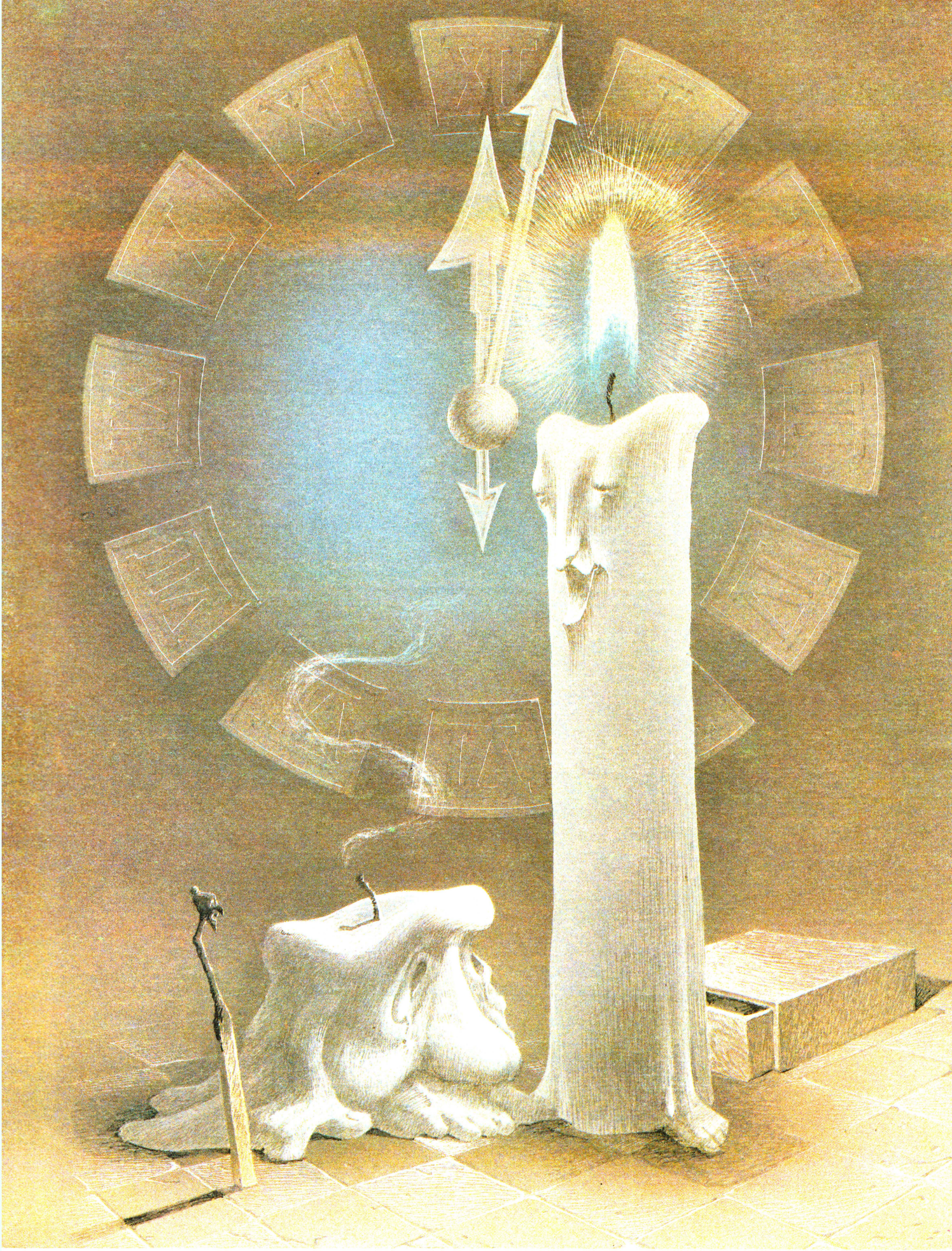
Ограничена, не может расти до бесконечности площадь, выделяемая под фантастику «Уральским следопытом», имеющим, как-никак, давно определившийся профиль. Довлеют над нами старые обязательства, в силу которых большая часть всех девяти наших 32-страничных выпусков будет занята крупноформатными произведениями, пройдет совершенно незначительное количество рассказов — и лишь самый минимум мы сможем отвести материалам о фантастике, без которых выпуск «Аэлиты» попросту немислим.

Понимаем также, что весьма серьезную конкуренцию составляют нам новые НФ издания, целая группа которых вот-вот придет (или уже пришла) к читателю. Разумеется, и они не сразу встанут на ноги, оставаясь на первых порах скорее сборниками и альманахами, чем полновесными журналами. Обретение собственного лица, формирование «своей» аудитории, массовый тираж, регулярность выхода — все это вещи куда более труднодостижимые, нежели обычно представляется со стороны.

Однако о собственном «лице» не забыть выраженьем и нам, нашей «Аэлите», надо думать уже сейчас. Кое-какие наметки на будущее у нас, конечно же, есть, но хотелось бы услышать и от вас, старые и новые наши друзья-читатели: что, на ваш взгляд, непременно следовало бы привнести в «Аэлиту»?

Ждем от вас конкретных предложений — дельных, реализуемых, интересных!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК «АЭЛИТЫ»
ВИТАЛИЙ БУГРОВ





Рисунки Александра Коротича

III

В середине марта с юга задули теплые ветры, небо набухло, потемнело, дали обложило густой синей мглой. Иногда из низких, пахнувших весной туч моросил мелкий дождь-бусенец, засевая росным сверком отпотевшие окна. Днями с потолков капало, а с крыш и амбарных застрех, тяжело ахая, сползали залежалые пласты из мокрого снега. Ночью в полях поднимались светлые туманы, в оврагах тьякали лисы, и загулявшие зайцы устраивали свадебные хороводы прямо в огородах. Обласканная ранней ростепелью, распустилась в талых лужах вековечная печальница ивушка плакучая. А когда на взбурившемся зимни-

но, и дальше Краснополя, во всех деревнях, а может быть, по всей голодной в ту пору России.

Вот и нынешней весной, едва согнало снег, на мокрые, местами еще затопленные водой поля с ведрами, корзинами, кулями устремились люди. Корочки-то у лепешек поджаристые, а какое трудное, противное дело выбирать из ледяной грязи картошку! Она и на картошку-то не похожа — нечто мягкое, ослизлое, мерзкое... Да где там выбирать — пока найдешь одну-единственную, перемелешь руками и ногами не один пуд сырой слежавшейся земли. Уж все, кажется, выпахали, еще с осени не один раз перелопатили поле, а все же люди шли и надеялись насобирать ведерко-другое этого дорожного гнилья.



ке через поле люди увидели первого грача, поняли, что скоротали еще одну военную зиму.

С приходом весны наступило то недолгое страдное время, когда и стар и мал отправились на совхозные поля собирать оставшуюся по недогляду и перезимовавшую в земле прошлогоднюю картошку. В огородах не было, в огородах выбирали до единой с осени. Сырую, мягкую, ее очищали от кожуры, гнили, мелко рубили сечкой в корытце. Испеченные затем лепешки — на каком-либо жировом суррогате или без него — были незаменимым, а часто и единственным подспорьем к небогатому хлебному пайку.

Ах, какие это были лепешки! Крахмальные, рассыпчатые, они будоражили аппетит уже тогда, когда шипели, набухая, на сковородке. А как похрустывали на зубах их поджаристые корочки! Пекли такие лепешки в каждом краснопольском доме. Да, навер-

Нынче Симка с Шуркой уже открыли сезон.

Как-то в конце смены в кузницу зашел Иван Семухин, потоптался на своей хромой ноге, пересчитал откованные Симкой зубья к боронам, повертел один в руках.

— Что я хочу сказать? — начал Семухин. — Завтра ведь выходной, а ты, Буторин, подросток, тебе отдыхать положено. Не выходи завтра на работу. Бери побольше мешок и отправляйся на дальнее поле за картошкой. Ну туда, где плуг не могли пустить. Из-за дождей много там ее в земле осталось. Да не зевай, пораньше иди, а то тебя живо опередят. А этой, — Семухин постучал железякой по наковальне, — этой ловчее будет копаться. Стало быть.

Вечером же Симка забежал к Шурке, позвал на завтра с собой. Уже уходя от него, он привстал на пороге, подумал и сказал:

— Ты, это, вот что. Сходи к Пушкаревым, тоже ведь жрать нечего, пусть и они собираются.

Шурка знал это вечно сырое поле. Да и как не знать, если сам на нем собирал с тетей Юлей картошку. Знал и о том, сколько ее каждый год остается там в земле.

На другой день встали раним-рано, когда еще не светало. В такую рань засобирались с двойным расчетом — чтобы опередить вездесущих старух и хоть в передний путь, по стылому, пройти сухими ногами. Симка дал Шурке такой же, как у себя, зуб от бороны. Их он специально оправил рыть землю — вытянул, один конец сделал острым, другой — лопаточкой. Все не громоздкую лопату тащить.

Пушкаревские ребята приготовились никуда не годно: ни мешка, ни котомки, ведро и то одно на двоих. Оба в ботинках. Это поутру в ботинках пройдишь, а днем, когда развезет, как? К тому же у Сашки они совсем разбитые, вот-вот отвалятся подметки, и он на всякий случай притянул их проволокой.

Симка посмотрел, посмотрел на Сашку, но только плюнул с досады, а говорить ничего не стал: знал, что тому надеть больше нечего.

Не лучше выглядел и Валерка.

Некогда было мешкать, возвращаться домой, отправились в чем были.

Помаленьку светало. Небо на востоке сначала заалело, призрачно высвечивая словно бы парящие над дальними полями березовые островинки, потом как-то враз яркой светозорью плеснуло по всему горизонту, и занялось, заиграло огнями новое весеннее утро. По пашне бродили еще сонные, лоснящиеся от лаковой черноты грачи — такие черные, что нелепыми, чужими казались их шеголевато-белые клювы. Разливным оранжевым морем полыхал горизонт на востоке, вот-вот за лесистыми увалами взойдет солнце, и там, где оно взойдет, уже сиял в радужном нимбе золотой его венец. Где-то в зените, будто подвешенный, все на одном месте, одиноко и переливчато звенел жаворонок. Ребята остановились, запрокинули головы и долго искали его глазами, пока Валерка не закричал радостно:

— А вона, вона он! Ой, как звездочка горит!

И все сразу увидели жаворонка, и вправду светящегося — там, высоко-высоко, уже было солнышко.

Ошиблись ребята, что придут на картофельное поле первыми. Как раз на том месте, где позапрошлой осенью Шурка убирал со школой картошку, ковырялась батоном в земле Секлетинья. Ее нетрудно было узнать по длинному пальто, по всей сгорбленной, как бы переломленной надвое фигуре. И когда успела притащиться? Не здесь же ночевала! Но подумав так, Шурка не почувствовал к ней неприязни, наоборот, пожалел. Ведь кое-как бродит, а пришла...

Так, наверно, подумал и Симка, потому что не стал по привычке плевать, а только закурил и сказал громко:

— Ну и пускай собирает. Всем есть охота!

Оставшейся в земле картошки здесь и верно попадалось много, и у ребят быстро наполнялись ведра. А Симка уже и котомку приготовил. Глядя на него, Шурка неприятно представил, как и сам он скоро будет сыпать эту, словно мыльную, картошку в свою котомку, а потом наденет ее, обвислую, на пле-

чи и тут же почувствует на спине противную холодную сырость.

Солнышко уже высоко поднялось над увалами, растопило в бороздах ночной ледок, над отпотевшей серебристой пашней заструились потоки влажного воздуха. Сапоги все глубже увязали в разжиженной земле, все пуще засасывало их и все труднее стало передвигаться.

Но Шурка с Симкой все же в сапогах, уж в каких ни на есть, клееных-переклееных, но в сапогах. А каково Пушкаревым? Сашка все возится со своими ботинками, то и дело перематывает проволоку.

Тем временем на поле пришли еще люди. Пока было далеко, Шурка не видел кто, а потом узнал совхозных девчат. Узнал их и Симка, сразу давай охорашиваться, отскабливать со штанов грязь, застегивать воротник на все пуговицы. Среди девчат была Тонька Балухина...

Заметная эта Тонька, всегда опрятная, и даже материн ватник сидит на ней ладно, пригонисто, не то что балахон какой-то на Пане Морошкиной. Она ровесница тети Юли, но замужем еще не была и не избегает компаний с молоденькими девками. Поэтому ее никто не называет тетей, просто Паня или даже Панька. Вот и сейчас Паня пришла в компании с Тонькой.

А Симка весь изволновался, хватается за что попало, и все у него валится из рук. Стал высыпать в котомку картошку — и половину мимо. Ну что бы не попросить поддержать? А то пялит глаза на девок...

Сашка совсем застрял со своими бахилами, начал выбираться, опираясь на плечо брата, — сам упал и уронил его. Сначала смеялся, а потом обиженно заскулил. Увидев его, ревушего, увязшего руками и ногами в грязи, Симка перестал глазеть на девок, решительно шагнул к Сашке.

— Чо нюни распустил? Валерка меньше тебя и то не ревет. Вставай!

Он потащил Сашку под мышки и выволок без ботинка...

— Этого мне еще не хватало! — Симка сплюнул. — Связался с вами!

Заныл и Валерка, размазывая по грязным щекам слезы.

— А ты чо?! — прикрикнул на него Симка. — Ботинки на тебе? Чего тогда стонешь? Собрался детский сад!

Вызволненный Сашкин ботинок оказался без подметки... Симка повертел, повертел его и швырнул в сторону.

— Ты думал, куда шел? — напустился он на Сашку. — Тапочки еще не мог надеть?

Сашка хлюпал носом:

— А если у меня нет других. Эти — и то мамкины...

— Мамкины, мамкины! — передразнил Симка. — Знаю, что не твои, зачем шел в таких обутках? Залезай давай на меня, елки-палки!

Сашка обхватил толстую Симкину шею, мешковато обвис на его спине. Штаны не держались на подтянутом брюхе, сползали, оголяя белую, в острых торчках позвоночника поясницу и, пожалуй, спали бы совсем, не подхвати Симка Сашку под коленки.

Так и дотащил его на закорках до дороги, а как дотащил, сразу лег, раскинул руки, ноги, закрыл

глаза. От груди, от взмокшей телогрейки шел пар. Сашка в одном ботинке приплясывал, рядом и не знал, что делать.

— Что прыгаешь, как козел? — опять зашумел Симка. — Дуй домой, пока не засох тут! А ты, — повернулся он к Шурке, — бери их ведро и тащи к ним.

Ни Пушкаревы, Сашка с Валеркой, ни Шурка не знали, что, отдышавшись немного, Симка вернулся на поле и тоже почти выволол на себе Секлетинью. А потом еще раз ходил, увязал по колено в совсем раскисшей пашне, за ее котомкой. Свою и Секлетинину картошку он уже едва тащил, часто останавливался, бросал мокрую, тяжелую ношу на землю и зло плевался от того, что в кармане вымок табак.

Но такого грязного, измученного Симку никто не видел, потому что с поля, из соседних деревень, и отовсюду, где в этот час были люди, все убежали смотреть пленных немцев...

Вот они какие, эти немцы, вот они какие враги, хотя уже и не страшные! Колонна пленных тащилась по центральной улице Краснополя, мимо конторы, клуба, «этээрковского» дома, направляясь к столовой. Казалось, все население совхоза от мала до велика высыпало посмотреть на невиданное зрелище. Уж что и говорить, никого не осталось в домах — прибежали все с тепличного комбината, механической мастерской, фермы, конного двора. Было воскресенье, как всегда теперь в воскресенье, люди работали, но и они сегодня побросали дела, примчались-приехали кто как, кто на чем, в молчаливом удивлении смотрели на лениво бредущую толпу. Смотрел на немцев, стоя у конторы, и директор совхоза Гаврила Матвеевич Комлев.

Шурка страшно поразился, какие смиренные, какие жалкие эти немцы. Небритые, с изможденными лицами, они кое-как передвигали ноги, незряче смотрели друг другу в затылки. Все в одинаковых шинелях тускло-серого цвета, с алюминиевыми пупырчатými пуговками, без ремней. На ногах не поймешь и что — не то сапоги, не то боты какие, обмотанные-перемотанные тряпьем. Шеи у многих тоже заматаны, да еще и воротники подняты, на головах — пилотки с наушниками. В толпе хрипло кашляли — испростыли, видать, вояки, издали топают...

И только шедшие в голове колонны три немца выглядели бодро. В фуражках с высокими тульями, подтянутые ремнями, с узкими зелеными погонами и такими же петлицами, они в ногу, словно на параде, отстукивали каблуками. Шурка сразу догадался, что эти трое — немецкие командиры, и убедился окончательно, когда забежал вперед: они были старше своих солдат, — один в блестящих очках в тонкой оправе, с цепочкой возле уха.

До обидного поразило Шурку и то, что немцев почти не охраняли. Всего четыре молодых солдата-ка конвоировали пленных, и даже не конвоировали, а просто вели, потому что те не знали, куда идти. Один улыбчивый синеглазый солдатик шел впереди колонны, двое по бокам, а четвертый сзади. Шли, не снимая с плеч автоматов, будто с работы шли, чуть уставшие, чуть веселые, а синеглазый еще и раздаривал воздушные поцелуи девочкам, кучками толпившимся обочь дороги.

Пленных подвели к столовой, передний конвой что-то сказал одному из немецких командиров, а тот по-своему закалякал с солдатами. После этого немцы сразу нарушили строй, вольно разбрелись по столовской огаде, присаживались кто куда — на завалянку, на широкое крыльцо, на березовые чурбаки, сваленные под окнами. Некоторые разулись, тут же развешивая на штатетник вонючие носки и портянки, некоторые откинулись вздремнуть, сдвинув на глаза пилотки, подставив теплomu внешнему солнышку свои заросшие, ко всему безразличные лица. И вообще вели себя не шибко скованно: что-то говорили меж собой, зевали, чесались, закуривали, протягивая друг другу сигареты. А один даже, никого не стесняясь, отошел к продуктовому складу и под стыдливый хохот отвернувшихся девчат бессовестно начал мочиться...

Непонятное, жуткое любопытство сжигало Шурку, он вглядывался в лица немецких солдат и смятенно думал: «Ну ведь такие же они люди, бороды растут, как у всех мужиков, курят так же, и никакие они не звери, не уродины, вон у одного даже бородавка на щеке, как у человека, а враги-то они почему?! И может быть, очень может быть, среди этих есть и тот, который убил отца...»

Шурке вдруг сделалось дурно, приступ отчаяния подступил к горлу, сдавил грудь, и он беззвучно заплакал. Надо было уйти отсюда, не мучиться, не терзаться, но он не мог сдвинуться с места, потерянно стоял, чувствуя, как горячая влага жжет щеки. «Враги они, все равно враги!» — билось в висках, и, наверно, он не подумал так, а прокричал, потому что услышал рядом голос:

— Да, враги, но уже безопасные. Теперь они просто пленные. Успокойся, дорогой друг, возьми себя в руки...

Перед ним стоял в своем строгом черном пальто эвакуированный музыкант Антон Сергеевич.

Никогда еще, кажется, не нуждался Шурка так в помощи, в поддержке, и единственным человеком, кто мог бы в эту минуту понять его, разъяснить непостижимое, был он, Антон Сергеевич. И Шурка почти с мольбой поднял на него глаза.

— Почему они убили отца? Ведь такие же они люди!

— Видишь ли, дорогой друг, люди-то они люди, только с другими политическими убеждениями, — сказал ленинградец, взяв Шурку за плечи. — Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Ну вот послушай, постарайся понять. Отец твой воевал за свободу своего народа, за нашу независимость, за тебя, за всю страну. Немцы же, фашистская Германия во главе с Гитлером, хотели покорить, поставить на колени наш народ, всю Советскую страну. Фашизм — страшная штука, цель его — поработить народы, установить свое господство. Поэтому они и другие люди, другого, враждебного нам мира. Тут, дорогой друг, двумя словами не объяснишь, а если хочешь знать, хочешь понять — приходи, поговорим...

Хоть и непонятно сказал Антон Сергеевич, все же Шурка кое-что уяснил для себя, а главное, немного успокоился. Ведь вот они враги-то, уже побитые, не видать им больше своего фашизма, не страшные совсем, просто противные. И привели-то их ни куда-нибудь, а в такой далекий от войны совхоз, ра-

ботать привели. И правильно, пусть лучше работают на полях, чем стреляют в наших...

Немцев партиями заводили в столовую. А люди все не расходились, все смотрели на пленных, обзывали их, смеялись над ними, грозили. Милиционер Дурандин был при службе, прохаживался возле самых крикливых, как мог показывал себя, поправляя на ремне кобуру. Но и он не уследил...

Откуда-то прибежала, нет — налетела Пушкариха, растрепанная вся, с одичалыми глазами, растолкала грудившихся баб, вырвала у кого-то лопату, перескочила штaketник и наотмашь принялась бить немцев! Те, сшибая друг друга, шарахнулись в стороны, загоразивались руками, как могли, увертывались от ударов. Но все же Пушкариха успела раскровянить

об ее края, проливая воду на грудь. Потом закрыла лицо руками и зашлась в плаче.

— Зачем только этих супостатов привезли! — стонала Пушкариха. — Топить надо всех, как паршивых собак!

Истерику ее не могли унять ни женщины, ни Дурандин, и тогда подошел тоже оказавшийся здесь Афоня Говорухин.

— Вот что, Пушкарева, — сказал он, крепясь. — Такими выходками ты, кроме дури своей, ничего не покажешь. Свою же рану разбередишь больше. Без тебя их били, бьют и сейчас, и совсем скоро добьют, а ты не лезь. Не бабье это дело. Иди давай, распрягай кобылу. Да сена не забудь бросить.

И Пушкарева послушалась. Утерла щеки, поя-



нескольким немцам головы и все била, била... Она по-страшному кричала, редела, не видела, по кому лупит и огрела заодно подоспевшего конвоира.

— Но, но! — тоже закричал конвоир, пытаясь выхватить у Пушкаревой лопату. — Пленных бить не положено!

Тут подбежали остальные конвоиры, Дурандин, и они впятером кое-как отобрали лопату. Пушкареву прямо волоком потащили от немцев, а она с размотанными волосами все вырывалась, все кричала, пока не выбилась из сил и не задохнулась совсем. Ее посадили на бревно, кто-то сбегал и принес в кружке воды. Пушкарева не хотела пить, только мотала растрепанной головой и пьяно раскачивалась на бревне. Ей силой налили в рот воды, и она будто проснулась — жадно схватила кружку, зачала зубами

залься платком, растерянно осмотрелась, поднялась и молча пошла к оставленной на дороге лошади.

Когда она уехала, Афоня сжал беспальный кулак, повернулся к немцам. Притихшие, они тотчас вскочили и чуть не хором завывали: «Гитлер капут! Гитлер капут!»

— Знаю, что капут, бесьи души! — последними тормозами сдерживая себя, проговорил Афоня. А конвоирам сказал: «Вы, братки, простите дурную бабу. Понять ее надо, с троими осталась...»

В этот вечер Шурка долго не мог уснуть. Повидал он живых немцев, даже запах от них какой-то нездешний запомнил и все думал над словами Антона Сергеевича: «Фашизм — страшная штука».

Решил завтра же сходить к нему, узнать про фашистов больше.

IV

Это погожее весеннее утро началось обычно, как и сотни ему подобных за годы войны, началось бегом, хлопотами, приготовлениями к длинному трудовому дню. «Весенний день год кормит», — крепко люди помнили эту мудрую заповедь и ни на шаг не отступали от нее. А потому выходной — не выходной, праздник — не праздник, все спешили на работу. Вот сегодня Первое Мая, это ли не знатный день, а никто и не подумал об отдыхе. Правда, вечером в клубе предполагается концерт художественной самодеятельности, обещали открыть буфет и, возможно, даже привезут пива, но то вечером, а до вечера далеко. И хотя все были полны ожиданий новых важных вестей с фронта, никак не думали, что нагрянут они именно сегодня, в праздничный день.

Афоня Говорухин, сделавшись агрономом, теперь только на пять, шесть часов приходил домой. А так все в полях и в полях. Но как и директор, утром обязательно забегал в контору — здесь тоже ждали дела.

В то раннее утро он вычерчивал график сева яровых, и вдруг в кабинет без стука, без привычного «можно» ворвался Вася Коновалов. Возбужденный, со сверкающими глазами, он долго не мог ничего сказать, лишь немо кивал головой на стену, на черную тарелку выключенного репродуктора, а потом заорал оголтело и безудержно:

— Наши Берлин взяли! Ура-а-а!

Афоня положил карандаш, выпрямился.

— Ты что блажишь? Какой Берлин, кто взял?

Это уж потом он поймет нелепость своих слов — растерялся и от крика, и от известия, а пока, как и Вася, трудно постигал суть происшедшего.

— Откуда ты взял? — наконец спросил он.

— Только что... только что по радио передали...

Афоня торопливо включил репродуктор, и оба они услышали знакомый голос Левитана:

— От Советского Информбюро. В последний час.

Войска 1-го Белорусского фронта при тесном содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группировки немецких войск и сегодня, Первого Мая, полностью овладели городом Берлином — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии...

Радио умолкло, наступила томительная пауза. Слышно стало смятение переполненного эфира — из чуткой, подстроенной на полную громкость мембраны доносилось отрывистое пикивание азбуки Морзе, урчание, пощелкивание, отдельные слова и возгласы.

— В последний час, — повторил диктор. — Работают все радиостанции Советского Союза...

Еще раз прослушав сводку, Афоня, забыв про Васю, выскочил в коридор, но там уже было полно народу — все слушали радио. Гаврила Матвеевич стоял у раскрытых дверей своего кабинета, бледный от напряжения. Ближе к нему — весь внимание — вскинул голову Цикунов с пробритыми, пергаментно светящимися щеками, чуть поодаль с потухшей папиросой в зубах замерла его помощница Раиса Брызгалова, навалившись на косяк, с трудом удерживая приступ кашля, слушала Левитана Маргарита Степановна Орлова.

Прошло с полчаса, сводку повторяли снова и снова, а люди все стояли, все не расходились, чего-то ждали еще. Но диктор ничего больше не добавил, а только от имени Верховного Главнокомандующего поздравил советский народ и героическую Красную Армию с новой крупной победой. Осталось подавить отдельные, бессмысленные, уже не влияющие на исход войны очаги сопротивления врага, и победа будет окончательной и бесповоротной.

Первомайский вечер начался поздно, но как начался! В тесном старом клубе не то что сидеть, стоять было негде. А люди подходили и подходили. Иные шли прямо с работы, не успев переодеться, не успев умыться. Велико было желание каждого старого и малого жителя Краснополя приобщиться к редкостному, небывалому Первомаю, совпавшему с падением ненавистой германской столицы.

Когда-то одно слово «Берлин» угнетало, вызвало страх и тревогу, с ним связывали самое худшее, самое мрачное, им пугали детей. И вот этот город повергнут, разбит, раздавлен нашей армией. И хотя со взятием Берлина Германия не капитулировала, всем казалось, что война уже закончена. Ну как тут не прийти в клуб, пусть даже в полночь, пусть даже в рабочей одежде!

Пока шла торжественная часть, пока поздравляли друг друга с победой, пока традиционно награждали грамотами и подарками передовиков производства, еще соблюдалась какая-то тишина, какой-то порядок. Но вот председатель рабочкома Цикунов вручил последнюю грамоту молодой доярке Тоне Балухиной — и пошло-поехало! Ранее объявленный Васей Коноваловым «скрипично-фортепьянный» концерт так и не состоялся — на сцену без всякого спроса и согласия повалили люди, и каждый пел и плясал как умел и сколько хотел.

Конечно, опять выступали под Васиным руководством акробаты. И опять ловкая девочка Нюра Порошина, тонкая и гибкая, как лозинка, делала «мостик» на композициях из упругих мальчишеских тел. Да что мостик — зрители ахнули, когда она, подобно росточку, прыгнула в притемненную вышину сцены в красивой уверенной стойке. С отвисшими косичками постояла на руках, а потом сделала «шпагат» и тоже красиво, уверенно прыгнула на пол. Послышались аплодисменты, одобряющие голоса. Гаврила Матвеевич с улыбкой проследил, как раскланявшись, легко убегала со сцены Аня Порошина, опять подумал: «Эта будет физкультурницей. Всякие, всякие таланты будут нужны в новой послевоенной жизни. Вот еще Андрея Привалова сын. Этот серьезным, ответственным растет человеком...»

Гулянье в клубе продолжалось. Правда, надо сказать, немало этому способствовал и буфет — маленький закуток, выгороженный в помещении раздевалки и работавший по-ударному вот уже несколько часов кряду. И тоже надо сказать, что столовская официантка Зинаида — а сегодня она была буфетчицей — торговала не только липкими карамельками и молочным суфле, имелось у нее кое-что и другое. Обычно прижимистых в таких делах, Гаврила Матвеевич в нечастые праздники позволял Зинаиде, а то и сам помогал заполучить в местном ОРСе бочку-другую пива или флягу разливного вина. А тут и вовсе особый случай...

— Колоратурное сопрано! — загадочно объявил Вася Коновалов и широким приглашающим жестом как бы смахнул ладонью с начищенного ботинка пыль. Из-за кулис, рдея маковым цветом, выплыла в длинном платье Лиза Скворцова, самая охочая в совхозе песенница, с голосом ротного запеваля.

— Ково, ково он сказал? — не поняла Секлетинья, подтолкнув локтем соседку. Рядом сидела такая же древняя старуха, но вроде бы не столь тугая на ухо.

— Кто их теперича разберет? Кажись, про что-то коловоротное...

— Срамники! — заключила Секлетинья и жестко сомкнула сухие губы.

Лиза свела в замок пальцы, томно откинула голову и на манер Руслановой пропела:

— Окра-сил-ся ме-есяц багря-анцем, где волны реве-эли у ска-ал...

Теперь Вася сидел рядом и усердно выводил на гармошке мелодию...

Уже под конец, когда на улице широко рассветало и народу заметно поубавилось, Антон Сергеевич и Эмма Борисовна все же сыграли один номер из подготовленной ими праздничной программы, вернее, аккомпанировали в четыре руки на рояле все тому же неутомимому завклубу, артисту и гармонисту Васе Коновалову. Вася петушиным фальцетом исполнил популярную песню про любимый город, который может спать спокойно. Певца долго не отпускали со сцены, он, как заправский артист, прижав ладонь к сердцу, почтительно раскланивался, щедрым жестом посылал в зал приветствия и растроганно-благодарно принял от юной физкультурницы Ани Порошиной букет распущенной вербы, не забыв при этом галантно поцеловать ее руку и сказать «Мэрс!»...

Почти до конца были на вечере и ребята — Шурка Привалов, Вовка Басаргин, Федька Говорухин, Сашка и Валерка Пушкаревы. А как уехал в Залесье Иван Семухин, к ним присоединился и старший сын его, Колька.

— Папка говорил про Стеклянный дом, ну то, что вы придумали сделать памятник убитым на войне, — сказал Колька, подсаживаясь к Шурке. — Я вам помогу, у нас ведь тоже Пашку убило...

— А что дядя Ваня говорил про памятник?

— Ну, что молодцы вы, иди, мол, и ты с ними.

— Так и сказал? Врешь, наверно!

— Чо врать-то я стану! — обиделся Колька. — Говорю, Пашку убило, дядю моего, похоронку принесли. Ему тоже памятник надо. Папка говорит общий, один на всех. Вот и я с вами...

Никак не думал Шурка, что так все повернется, что их затея со Стеклянным домом захватит всех ребят, даже тех, у кого отцы и братья уже вернулись. И уж совсем не ожидал, что заинтересует взрослых. Дядя Савелий теперь уже не требует рамы, не пугает, не допрашивает, наоборот, предлагает еще. И сам он каждый вечер что-то маракует с Колькиным отцом, составляют какие-то чертежи, планы. Это у них Колька подслушал разговор...

Шурка знал, что милиционер советовался насчет памятника и с дядей Афоней Говорухиным, и с Никитой Моршкиным — со многими фронтовиками, а вчера все они были у директора, тоже советовались. Вот началось!

На улице к ребятам подошел Симка. Подошел без

привычного шума-бума, тихо, подавленно. Рыжие глаза его были тоскливы. Шурка догадался, от чего у Симки такое настроение: ушли из клуба под ручку Тонька и Никита...

Но Симка старался не выдавать своего пришибленного состояния, заговорил невпопад о разном:

— Это самое, вот что. Я скоро в армию... Дурандин говорит, Стеклянный дом нам помогут сделать фронтовики... Дедка болеет, не слезает с печки, вот конфект купил. А, может, вина лучше?

— Вино больному не положено! — раздался сзади напущенно-строгий голос. Ребята обернулись. Перед ними стоял Дурандин, но не в милицейской форме, а в штатском костюме.

В проглаженном пиджаке, в белой рубашке с отложным воротничком, Савелий выглядел так непривычно, что не сразу и признаешь. Потому весь вечер и не замечали его. Даже Паня рядом с ним казалась другой, вроде бы выше и красивее. Нет, оба они были красивые и совсем, совсем молодые. Шурка удивился, что простая одежда может так изменить человека. Или этот вечер изменил их? Не только Паня с Савелием сегодня были моложе и красивее, все изменились сегодня, у всех были молодые, устало-счастливые лица.

— Вот что, архаровцы, — сказал Дурандин, взяв за плечи Симку и Шурку. — Продолжайте с памятником, или как он у вас — Стеклянный дом? — по своему усмотрению. Семухин подбросит вам подмогу.

Иван Семухин, не спавший из-за поломки трактора несколько ночей, наконец вместе с трактористом отремонтировал его, выпустил в поле, а сам в тот же час направился к директору доложить о сделанном.

Комлев не ругал, не хвалил механика, а только сказал, что хоть кровь из носу, но в трехдневный срок наверстать упущенное, вспахать положенные гектары, а как вспахать — это уж его, Семухина, дело, хоть сам садись за рычаги, хоть сутками в выпускной из кабины виновника-тракториста.

— Куда деваться — вспашем, — согласился Иван, хорошо понимая, что иначе и быть не может. — Если чо, дак, конечно, сам сяду, не впервой.

Подумал, покосился в угол и добавил со вздохом:

— Так, наверно, и придется. Самому пахать придется.

— Это почему же? — не понял Комлев. — Что он у тебя, тракторист-то, ребенок?

— Да нет, не ребенок. Натыкал носом, больше мотор не перегреет. Людей у меня нет, Гаврила Матвеевич, ну нет свободных рук, хоть ты тресни, а мне позарез пару человек надо! Вот и сниму, пожалуй, его, а сам пахать буду.

— Куда тебе еще людей?

— Как куда? Обещались же помочь ребятам с памятником. Ну, с ихним Стеклянным домом. Хоть бы площадку пособить им сделать, а то там камень на камне, что они одни. Разровнять, цементом залить, а дальше уж пускай сами. Нельзя же подводить ребят, оставлять без внимания такое дело.

— Цементом! А где его взять? Телятник падает, фундамент подвести нечем.

— Да много ли там цементу надо, центнера два, не больше. А ребята и вовсе, где возьмут?

Семухин опять скопился в угол, поглядел на колёнях фуражку.

— Что я хочу сказать, Гаврила Матвеевич? Я знаю, где взять цемент и рабочих. Если, конечно, можно. У пленных, и самих пленный на работу взять. Все-го-то на денек, на два. Стало быть.

Директор поскреб подбородок.

— Пленных, говоришь? А что, попробовать можно. Обещание надо выполнять...

Гаврила Матвеевич снял затертую до блеска железную трубку с одного из трех на его столе телефонных аппаратов.

— Соедини-ка меня с начальником лагеря,— попросил он телефонистку.

Поздоровавшись, Гаврила Матвеевич осторожно обсказал начальнику лагеря суть дела, дескать, если можно, помоги, а нельзя, так и нельзя, в обиде не будем, а потом надолго умолк, слушая его.

— Так, так,— изредка ронял директор, постукивая карандашом по столу. Уточнил:

— Значит, сам, по доброй воле? Ну, туда ему и дорога! Что, что, говоришь? Хороший переводчик был? Да все они не хуже нас с тобой по-русски шпрехают, слава богу, изучили за два года. Что? Из Берлина? Да какая разница, откуда! Фашист, он и есть фашист. Не понял? Ничего, говорю, переживать из-за фашистов! Значит, договорились? Ну спасибо за выручку!

Положив трубку, Комлев с минуту молчал, потирая подбородок, затем сказал:

— Главный немец у него задавился. Не вынес, видишь ли, поражения великой германской империи. Письменный обет дал: «Уйду из жизни тотчас, если падет мой Берлин». А ведь раньше не думал уходить, чего-то ждал, на что-то надеялся! Почаще бы такие клятвы давали. Верно, Иван Васильевич?

Семухин вспомнил этого повесившегося немца-офицера. Тот самый ихний командир, который хорошо говорил по-русски и у которого были блестящие очки...

— Завтра жди работников. Ну и цемент, песок привезут. Покажи, что к чему, приставь ребят — и за свои дела. Чтобы техника у тебя вся была на ходу. Понял?

Понять-то Семухин понял, но уходить из кабинета не торопился.

— Что я хочу сказать? К цементу-то и не мешало бы кирпича немножко. Ну, сотни две, три... У них есть, вон как свою «Баварию» обустроили, дорожки кирпичиками выложили, клумбы изукрасили! Стало быть!

— Иван Васильевич! — встал директор. — Что у них есть — не наше дело. А мы с тобой и с Дурандиным, кажется, договорились. Пусть ребята сами занимаются своим Стеклянным домом, пусть что хотят, то и мастерят. Эта их благородная игра, и не будем им мешать. А настоящий памятник, обелиск, мемориал — не знаю пока что, поставим мы, понимаешь — мы, ветераны войны и труда, поставим всем миром, всем народом, и тогда найдем, сколько надо будет, и цемента, и кирпича, и гранита. Вот только управимся с посевной. Теперь-то понял?

— Как не понять,— трудно соглашался Семухин. — Что я хочу сказать? Вот если бы вы разрешили са-

тому мне заняться кирпичами, я бы достал... У них, у немцев. За что им такая честь — снабжают материалами лучше совхоза! А у нас вон телятник падаёт...

Комлев всплеснул большими руками.

— Ох, Иван Васильевич, Иван Васильевич! Неисправимый ты человек! Посмотри на часы, ведь сорок минут ты меня мурыжишь! Иди, иди, доставай свои кирпичи!

И Гаврила Матвеевич вежливо выпроводил Семухина из кабинета.

Было воскресенье, и ребята, свободные сегодня от школы, с утра собрались на высоком патрушихинском берегу. Пришли кто с лопатой, кто с ломом, кто с цапкой. Поджидали пленный. Вчера Иван Семухин сказал, что немцы-рабочие разровняют и забетонируют площадку под Стеклянный дом. Сначала это как-то покорило Шурку — немецкие солдаты и вдруг помогают сооружать памятник погибшим на войне с ними советским бойцам! Но, копнув раз-другой каменную землю, понял, что без взрослых тут не обойтись. Ну и черт с ними, с немцами! Какая разница, кто будет долбить эту скалу? Памятник-то не ихним солдатам, нашим!

Последним пришел Симка и прикатил тяжеленную железную тачку. С незапамятных времен ржавела она без колеса у кузни, и вот Симка приладил колесо, прикатил сюда.

— А ее-то зачем? — спросил Шурка.

— Пригодится!

Вспотевший, запыхавшийся — не легко, было тащить такую колымагу в гору! — Симка полез в карман за куревом. Табак он хранил в жестяной коробке из-под зубного порошка, там же держал патрон с трупом и кресало.

— А если камни потребуются, на себе таскать, да?

— Так вот же они, на чем сидишь?

— Не-е, эти маленькие. Такие на могилы не кладут. Надо во какие! — Симка выше головы поднял руки.

— А это вовсе не могила будет,— вставил Вовка Басаргин. — Памятник же!

— Ну пускай памятник. Все равно на них камни наваливают.

— Да ведь Стеклянный дом, какие камни? — возмутился Сашка Пушкарев.

Не согласился с «каменьями» и Колька Семухин, очень похожий привычками на отца, тоже все время косящий глазами куда-то в сторону.

— Подумай, зачем они, если рамы будут?

Симка неожиданно рассвирепел, бросил, растоптал окурки, давай плевать.

— Рамы, рамы! Что я вам, придурок какой, зря клепать все утро эту телегу! Знаете, когда я встал? В пять часов! Вы еще все дрыхнули! Вот как возьму да катану ее к...

Тут Симка сказал такие слова, что ни написать, ни повторить их никто не решится...

Но много кое-чего слышавшие ребята не очень-то дрогнули от Симкиного красноречия. Знали: поплывется, поматерится — и отойдет. Так бывало не раз. Не надо только больше ему возражать. Не любит Симка, когда возражают или указывают. К тому же

есть у него над всеми ими преимущество: он человек взрослый, рабочий, вот-вот пойдет в армию. А кто столько приспособлений наковал к рамам? Нет, тут помолчать надо.

И пока так думали, Симка и верно отошел. Подмигнул маленькому Валерке Пушкареву, подбросил на ладони круглый голышок, опять полез в карман за жестяной коробкой.

Но закурить он не успел; с горы все увидели, как из-за крайних домов выехала подвода, груженная кирпичами и мешками, а рядом шагали немцы с лопатами на плечах. На поклаже с вожжами в руках восседал Иван Семухин. Сопровождал все это войско молодой конвой с малиновыми погонами на бушлате. Конвой ребята хорошо знали, его звали Алеша, он и другие лагерные охранники жили рядом с «Баварией» в казарме с узкими окнами у самой земли. Вечерами в свободное время они частенько забегали в клуб или ухаживали на плотине за местными девчонками.

Алеша был веселый, разговорчивый парень, как-то скоро сделался в селе приметным, своим, и все были рады видеть его — синеглазого, курносого, с несходящей улыбкой на юном лице. Это он, Алеша, раздаривал воздушные поцелуи девочкам в самый первый день привода пленных в Краснополье.

— Идут, — сказал Симка и сунул табакерку обратно. — Вот пускай они и таскают камни, а мы посмотрим...

— Ну, субчики-голубчики, принимайте рабочую силу, — сказал Семухин. — Принимайте на весь день. Мне недосуг, я сейчас еду обратно, а вы тут с ними сами. Да не бойтесь, они смиренные...

Он шагнул к Симке.

— Ты сегодня в кузню больше не ходи, сегодня тут у тебя работа, я рабочий день проставлю. У Шурки чертеж есть, вымеряйте площадку, и пусть они ее ровняют. Потом кирпичом выложат и забетонируют. А дальше дело ваше.

Немцы — а их было шесть человек — не дожидаясь указаний, разгрузили телегу, сбросали доски, аккуратно сложили кирпичи, рядом составили мешки с песком и цементом.

— Ну так все понятно? — спросил Семухин. — Поехал я тогда.

— Все понятно, и все будет сделано в лучшем виде, — ответил за ребят конвой Алеша и лучезарно улыбнулся. — Мы тут разберемся, что к чему, будь спок. И, как говорят французы, — адью!

Семухин уехал, сея за телегой красную кирпичную крошку и цементную пыль, и немцы без лишних слов принялись за дело.

Пленные сняли дерн, вывернули ломами, откатали с площадки тяжелые камни, принялись сколачивать из досок опалубку. Один из них с золотыми коронками, высокий, рыжий, худой, все чаще опирался на лопату передохнуть, все пристальнее приглядывался к Шурке. Нет, на небритом его лице не было ни злобы, ни недовольства, наоборот, этот немец как бы даже приветливо смотрел на него, а лучше сказать — переживал что-то свое, тайное, с глубоко спрятанной тоской в глазах. И, кажется, о чем-то хотел спросить Шурку.

Ну что он в самом деле уставился? Скалит и скалит свои фиксы, чего ему надо!

И вдруг показалось Шурке, что где-то, когда-то он видел этого немца. Видел и знает. Но где?

И тут рыжий сказал:

— Мальчик, ты есть отчень походишь на мой зон... сын мой Ганс. Я дарийт тебе... Как это у вас? Я дарийт тебе однажды птичка. Да, да, птичка!

И немец, словно бы боясь, что русский мальчик, так похожий на его сына Ганса, не вспомнит про петушка-свистульку, бросил лопату, опять дурашливо запрыгал, заподбрасывал ноги в тяжелых подкованных ботинках, засвистел-запиликал вытянутыми губами.

Шурка вспомнил... вспомнил кудрявого Ганса на фотографии, свежий шрам на брюхе рыжего, деревянную свистульку и тусклую денежку — пфеннинг...

— Ты отчень походишь на моего Ганса, я тебе сделаю много-много птичка!

Потрясенный Шурка будто врос в землю, не мог сдвинуться с места, не мог раскрыть рта. А Рыжий все говорил, говорил, теперь уже по-своему, губы дрожали, голос срывался, и влажные глаза его были полны счастья.

Растерялся не только Шурка, растерялись все ребята. Даже Симка с Алешкой замолкли, недоуменно и встревоженно смотрели на растроганного немца и ошарашенного Шурку. Да и остальные немцы тоже ничего не понимали, прекратили работу, молча переглядывались. Алеша на всякий случай поднялся с камней и не стал закидывать автомат на плечо.

И тут случилось неожиданное. К Шурке подскочил взъерошенный, с побледневшим лицом Сашка Пушкарев, весь напряжился, сжал кулаки и не сказал, а провизжал:

— Гад ты! Продажная шкура! Пляшут перед тобой! Иди, попляши и ты!

Но это было только начало, только зловещая завлека к чуть было не разыгравшейся на берегу беде.

Откуда-то прискакал-примчался верхом на взмыленной Афониной лошади Савелий Дурандин, выметнулся из седла и, судорожно шаривая растопыренными пальцами на бедре кобуру, хрипло заорал:

— Кто, кто их сюда пустил?! Кто, я вас спрашиваю?!

К милиционеру кошкой подпрыгнул Алеша, как палку, прижал к его груди поперек автомат.

— Дурандин, не шали! Дурандин, предупреждаю!

А когда Дурандин все же выхватил револьвер, охранник мгновенно присел и неожиданным приемом опрокинул его на спину!

Вот тебе и Алеша, улыбочивый солдатик с синими рязанскими глазами! И кто это придумал, что молодые да не шибко рослые не умеют показать характер? Широкоплечий верзила — Савелий не успел и охнуть, как оказался распластанным на земле. Фуражка откатилась в сторону, наган вылетел из руки...

Но ведь рядом немцы, наган у них под ногами! Небо разорвала короткая автоматная очередь.

— Назад! — прорезавшимся голосом гаркнул Алеша, вскакивая с колен. — Кому говорят — назад!

Немцы машинально вскинули руки, попятились. — Не трогать оружие!

Это уже касалось Дурандина. Не сводя глаз с пленных, Алеша ловко подхватил револьвер, сунул в карман бушлата.

Савелий сидел на земле, широко раскинув ноги,

обхватив голову ладонями — стукнулся затылком о кирпичи. Алеша протянул ему руку, помог подняться.

— Говорил, не шали, не послушался. Пеняй на себя!

— Кто, кто-им разрешил поганить землю? Под памятник! Мало ее опаскудили! — стонал Савелий, мотая ушибленной головой.

И напустился на охранника:

— А ты что, салага, полегче не мог? Так ведь и шею можно сломать! То же мне, Аника-воин!

Перепуганные немцы сбились в кучу, не знали, что делать — то ли снова брать за лопаты, то ли ждать указаний. Наверно, старший у них (тот, кто выложил на френч часы) несмело спросил:

— Господин начальник, можно продолжать работу?

ка с Сашкой разом наклонились за фуражкой милиционера и встретились глазами. Шурка выпрямился.

— Послушай, Пушкарев, — сказал он с убедительностью взрослого. — Еще раз распустишь язык, разможу башку! Так и знай!

Сашка отвернулся.

Симка сбегал под гору, поймал убежавшую лошадь. Засунув револьвер в кобуру, Дурандин затянул потуже поясной ремень, надвинул до самых бровей фуражку и приказал Алеше:

— Веди их обратно, такие помощники здесь не нужны! Так и передай своему начальству — не нужны! Скажешь: протестуют фронтовики. А вечером приходи сюда на субботник.



— Я вам продолжу, сукины дети! Вот разберусь, кто вас сюда направил! Да они же плюют на эту землю, в души мертвым плюют! Я сам, сам все сделаю, но не позволю глумиться над Ганькой, Андреем, Пашкой, Васькой... Сам все сделаю!

— Их механик сюда привел, — сказал отошедший от переполюха Симка.

— А тот с директором договорился, — добавил Шурка. — Дядя Ваня сам сказал. Говорит, площадку делаем, а дальше мы сами.

— Договорился он! — нервно усмехнулся Савелий. — Повоевал бы хоть с денек, не стал бы договариваться...

Ребята тоже помаленьку успокоились, собрали разбросанный инструмент, запереговаривались. Шур-

И день настал!

И пришла Победа!

Весть эта легкокрылой птицей полетела с поля на поле, из деревни в деревню, от дома к дому.

— Победа-а-а! — надрывая горло, орал с крыши клуба Вася Коновалов, где только что установил специально сшитый из кумача флаг.

— Победа-а-а! — без остановки свистел над лесопилкой гудок локомотива, салютуя в ясное небо высоким султаном пара.

— Победа! Победа! Победа! — на всю забытую громкость вторили маршами духовые оркестры из всех репродукторов великой страны.

Нет слов передать людское ликование, не описать восторга, сумятицы, даже какой-то растерян-

сти в первые часы наступившего на земле мира. День этот можно сравнить разве что со вселенским облегченным вздохом народа, наконец-то свалившего с плеч непосильной тяжести груз.

Все было в этот майский пригожий день. Вместил он в себя столько, что если разделить на обычные дни, растянулся бы он на неделю, не меньше. Был митинг, были речи, были гуляния и песни, были слезы радости и слезы утрат... Под стать весеннему половодью, неумолчно и неустанно бурлило Краснополье, и, казалось, этому небывалому оживлению не будет конца. День Победы, первый день долгожданного Мира счастливые селяне переживали и вместе, и всяк по-своему. Потому что только внешне этот праздник был одинаково радостен всем. Антон Сергеевич и Эмма Борисовна днем были на митинге, а теперь смотрели на снятые со стены портреты погибших детей и играли...

В эти минуты и зашел к ним Шурка Привалов. Выждал, когда Эмма Борисовна закончила играть и положила скрипку, негромко, боясь напугать музыкантов, поздоровался и еще тише спросил:

— Нет ли у вас лишних фотографий сына-летчика и дочери-партизанки? Мы памятник скоро открывать будем, там должны быть фотографии всех погибших из нашего села.

Антон Сергеевич и Эмма Борисовна слышали о необычном Стеклянном доме, уже видели странное сооружение из парниковых рам на высоком берегу Патрушихи, знали о хлопотливой затее ребят и сами хотели унести фотографии. Но явился Шурка, Антон Сергеевич с минуту расстроганно-благодарно смотрел сквозь толстые линзы очков на высокого стройного мальчика, хотел что-то сказать, но вдруг закрыл лицо ладонями, и опущенные его плечи задрожали...

Эмма Борисовна поспешно встала, взяла Антона Сергеевича за руки и, слабого, покорного, усадила на стул с мягкой подушечкой на сидении.

— Присядь, пожалуйста, и ты, — сказала она Шурке. — Сейчас Антон Сергеевич успокоится, и мы попьем чаю.

Антон Сергеевич снял очки, вытер платком покрасневшие глаза, близоруко посмотрел на Шурку.

— Какой ты стал взрослый, Саша! Какой благородный! Да, да, молодой человек, иного слова я не подберу!

В общении с ленинградцами, в особенности с Антоном Сергеевичем, Шурка всегда испытывал неловкость. Его смущала манера обращения музыканта, называя Шурку то дорогим другом, то молодым человеком, а уж про благородство — это прямо как из книжки. Никто в селе так не говорил, слов таких не употребляли, и Шурка хотел возразить, но не успел: в комнату из кухни с чайником и сахарницей в руках вошла Эмма Борисовна. Не успел, потому что Эмма Борисовна заговорила первой:

— Даже не верится, что все позади. Нет войны. Как же теперь жить, с чего начинать? Чем восполнить то, что уже не вернешь? Не забыть бы в радости, через какие потери пришли к победе...

Эмма Борисовна внимательно посмотрела на Шурку.

— Ты, мальчик, не забудешь, мы знаем. Ты уже сейчас понимаешь это. А помнить о погибших — зна-

чит, с чистой совестью смотреть в глаза живым. Помнить, мальчик!

Как не отнекивался Шурка, все же попил с музыкантами чаю. На прощание Антон Сергеевич взял со стола портреты сына-летчика и дочери-партизанки, бережно обернул их газетой и сказал:

— Унеси, пожалуйста, в Стеклянный дом. Пусть люди помнят и наших детей. А тебя, дорогой друг, уж не знаем, как и благодарить. Поверь, когда ты приходишь к нам, снова хочется жить...

Все семь километров от города Симка пробежал одним духом. Раза два останавливался только затем, чтобы вытащить из кармана и еще раз перечитать повестку, где говорилось, что гражданин Буторин Максим Гордеевич такого-то года рождения приказом таким-то призывается на действительную военную службу и обязан явиться на сборный пункт тогда-то и тогда-то, имея при себе то-то и то-то.

«В армию! В армию!» — ликовала душа, и нетерпелось всем рассказать об этом, всем показать повестку.

Он живо представил, как обрадуется дед, легко скатится с печки и суетливый, забывший про болезни, скажет: «Вот и дождался я, человеком тебя сделал, в люди вывел...» А Тонька, та сразу бросится в слезы. «Зря, скажет, я с тобой так обращалась, зря вышла замуж за Никиту...»

В военкомат Симка поехал сам, без вызова, потому что узнал: накануне всем сверстникам разнесли повестки, а о нем забыли.

Добравшись до города и отыскав военкомат, без стука ворвался в первую дверь.

— Здесь в армию записывают?

В кабинете сидел офицер с капитанскими погонами, он очень удивился Симкиному вторжению и сказал, что да, здесь записывают в армию и что такому забудыге давно пора служить, дабы в полной мере постичь воинскую дисциплину.

Но когда узнал, что Симка без повестки, совсем занервничал:

— Не прислали, значит, не положено. Какой еще Дурандин, какой Морошкин? Фронтовики? Ну и что, много сейчас фронтовиков! Не положено, значит, не положено! — сердито повторил капитан и показал на выход. — Когда потребуешься, вызовем...

Симка настырно сунулся в другой кабинет. Там тоже сидел капитан, но вроде бы добрее лицом, и Симка с ходу начал:

— Я в армию жду повестку, сказали, никуда не уезжай, будет со дня на день, всем призывникам принесли, а мне нет.

— Кто сказал?

— Дядя Савелий Дурандин.

— Кто такой Дурандин?

— Ну наш краснополский милиционер.

— Сколько тебе лет?

Симка с готовностью протянул паспорт.

— Э-э, рановато тебе, парень, тебе призываются через год. В лучшем случае осенью.

— Да ведь всего два месяца не хватает! — не сдавался Симка. — Чо до осени-то ждать? Никита Морошкин сказал, что договорился с вами.

— Какой еще Морошкин, с кем договорился?

— Ну из Морошкино Никита, на нашей девке Тоньке Балухиной женился. После фронта он.

Капитан повеселел.

— Значит, Никита Морошкин? Женился на Тоньке Балухиной? Девка-то хоть красивая?

Симка насупилася, поскреб ногтем пуговицу на рубахе, ничего не ответил...

— Постой-постой! — вспомнил капитан. — Это сержант с перебитой рукой?

— Ага, с перебитой!

— Стоп, парень! Тогда посиди.

Он вышел из кабинета и скоро вернулся с высоким седым подполковником.

— Вот это и есть Буторин, — многозначительно представил капитан. — Кузнец — золотые руки и первостатейный нарушитель общественного порядка!

— Так, так, в армию захотел? — спросил подполковник. — Или-или?

— Что — «или, или»? — не понял Симка.

— Выходит, два пути у тебя: в тюрьму или в армию?

— Не хочу я в тюрьму!

— А в армии тоже будешь хулиганить?

— Что вы, я вам все расскажу!

— Ладно, ладно, — согласился подполковник. —

Потом расскажешь своему командиру.

Он подписал какой-то документ, отдал капитану, а Симке приказал живо бежать на комиссию, которая работает в соседнем здании.

Симку признали годным к строевой службе в механизированных частях, вместе с другими, тоже по каким-то причинам задержавшимися призванниками строем сводили в городскую баню, наголо остригли, и через час тот же капитан вручил Симке повестку.

Вот и бежит он домой, вот и торопится — ведь уже послезавтра надо быть на сборном пункте.

Но куда сперва — домой или к ребятам? Они наверняка сейчас у Стеклянного дома, наверно, потеряли его, ждут. Он ведь никому не сказал, когда рано утром с попутной молоковозкой уехал в город. Конечно, сперва к ребятам. Вот позавидуют!

Еще не добежав до крутого берега, Симка вытащил повестку и, потрясая ею над стриженной головой, закричал:

— Ребя-аа! Я боец Красной Армии! Бое-эц!

Мальчишки действительно были у Стеклянного дома. Почти все, как на школьном субботнике. Одни подбеливали известкой высокий кирпичный фундамент, другие подкрашивали переплеты рам.

В самом Стеклянном доме, тоже на кирпичных полочках-стендах в несколько рядов стояли разноцветные фотографии людей — в кепках, шапках, остриженные наголо и кудрявые, в рубашках, шинелях, в черкесских бешметях и на бугафорских конях. Фотографии в рамках и без них, наклеенные на картонки и просто так. Лежали тут, пока не разложенные по местам и совсем маленькие, с профсоюзных билетов и прочих документов.

Много было этих фотографий, очень много. И ни одной похожей на другую. С самого видного места в Стеклянном доме, с большого портрета в резной рамке, молодыми добрыми глазами смотрела на ребят Юля Соломеина...

Симка удивился, что ребята не проявили к нему никакого интереса, даже не взглянули на повестку.

— Да ведь в армию я, вот повестка! — настойчиво напомнил Симка. — Ослепли, что ли?

— Сам ты ослеп, — сказал Шурка. — Разорался! Дедушка твой умер...

Симка сел. Растерянно посмотрел на каждого из ребят, тихо удивился:

— Неужели?

— Умер, — повторил Шурка. — От разрыва сердца...

Толстые Симкины губы некрасиво растянулись, рыжие выпуклые глаза наполнились слезами, и весь он сделался жалким, беспомощным.

— Правда, что ли? — все еще не верил Симка. И вдруг стон вырвался из его груди.

— Это я, я виноват, из-за меня дедушка умер! Он переживал за меня, сильно переживал! — громко, как обиженный ребенок, ревел Симка, в отчаянии мотая ушастью, белой без волос головой. — Как же так, я — в армию, а он умер?

Шурка не меньше переживал неожиданную смерть Филимона Нестеровича. Как-то не укладывалось в сознании, что деда уже больше нет, никогда не услышит его насмешливого голоса, не расскажет про Цусимское сражение, не возьмет с собой в лес. Как будет без него сторожка на конном дворе, где обогрются и попьют чаю женщины, кто покажет поющего на току глухаря? После матери Шурка считал Филимона Нестеровича самым близким, самым родным человеком, и вот не стало его.

Но и здесь Шурка не сломился, и здесь поборол себя. Он научился бороться с собой, научился быть твердым. Жизнь научила. Неслышными шагами уходило от него детство, все больше и больше наваливались на плечи всеобщие заботы взрослых. Теперь все, что преподносила многоголая изменчивая жизнь, воспринималось терпеливо и рассудительно. А потому не стал ни утешать, ни уговаривать Симку, а только сказал:

— Похороны завтра, успеешь проститься с дедом. Все простимся. Принеси сюда его матросскую фотографию...

...И. прошли годы. Долгие годы. И поднялись в городах и весях, на курганах и братских могилах тысячи монументов миллионам погибшим в священной войне — скорбная дань и вечная память благодарного народа своим героям. И не одним ли из первых был тот, на высоком берегу патрушихинского пруда? Страна еще долго оставалась больной, трудно восстанавливала силы, и краснозвездные обелиски вознеслись на курганах не сразу. А Стеклянный дом уже стоял. Не монумент и даже не памятник — крылатая фантазия мальчишек, не желающая мириться с забвением отцов и братьев. Больше ста фотографий покоилось под его светлой крышей...

И пусть снисходительным будет нынешний просвещенный читатель к наивной затее военной поры, пусть поймет и поверит в недетские их устремления, пусть западут в его душу слова-призывы, словно кричащие со стен Стеклянного дома на все четыре стороны света:

Помнить!

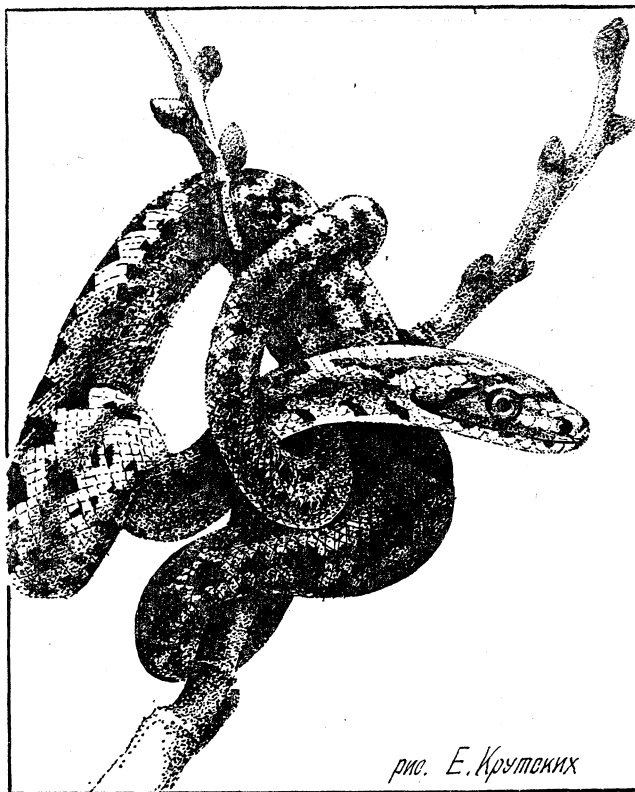
Помнить!

Помнить!

Помнить!

ЗМЕИНЫЕ ГОРЫ

Александр
ЧИБИЛЕВ



Человека окружают самые разнообразные животные. Одних он свято бережет, других, напротив, недолюбливает и нередко преследует. Неприкрытую ненависть испытывают многие люди к змеям. Такое отношение к ним является либо религиозным пережитком, либо следствием глубокого заблуждения о вредности змей.

Многие горы, подступающие к Уралу справа и слева, называются Змеиными. Нередко они известны местным жителям под названием Яман — или Жаман-тау, что в переводе с тюркских языков означает «плохая гора». При этом подразумевается дурное, змеиное место.

Змеиные горы — своеобразные природные резерваты исконного жителя края, степной гадюки.

Они живут здесь огромными колониями, нередко в сотни особей. Но очень часто от змеиных мест осталось только одно название. Дело в том, что находят люди, чаще всего мальчишки, которые считают небывалой удачей пройти по ним с карательными целями, подвергая жестокому истреблению беззащитных змей.

Гадюки весьма миролюбивы. Завидя человека, они всегда спешат спрятаться в укрытия. Гадюка кусает людей только в том случае, если он наступит на нее или схватит ру-

кой. И хотя укусы степной гадюки болезненны, случаи гибели от них людей официально неизвестны. Уже одно это не может оправдать истребителей змей.

Если же учесть ту пользу, которую приносят гадюки, уничтожая грызунов, саранчу и других вредителей, то становится очевидным, что они заслуживают охраны наравне с другими полезными животными. Не следует забывать и то, что яд гадюки используется в медицине.

Змеи должны стать неприкосновенными. Змеиные горы — микрорезерватом. Выявить и взять их под охрану — одна из задач краеведов и юннатов.

Обыкновенного ужа, обитателя бережней рек и озер, все узнают по хорошо заметным желтым или оранжевым пятнам по бокам головы. Общеизвестно, что уж — существо абсолютно безобидное.

На реке Урал, кроме обычного, встречается уж водяной — с темно-серой спиной, желтоватым брюхом и черной головой без оранжевых «фонарей».

Самая крупная колония этих змей живет на Меловых горках близ села Иртек. Здесь находится один из самых северных очагов распространения водяных ужей — типичных оби-

тателей южных районов нашей страны.

Конец апреля. Весеннее солнце уже расплавил снег, и приуральская степь украсилась тюльпанами, ирисами и горичветами. Воды Урала вздыбились от весеннего паводка и затопили нижнюю часть меловых склонов. Сотни черноголовых желтобрюхих ужей покинули свои зимние убежища и расплозились по всему склону. Меловых гор. На обрывах насчитывалось не менее десяти огромных живых клубков из переплетенных ужей — начались брачные хороводы.

Водяной уж — змея изящная, стремительная в движении. Он отлично плавает и ныряет, свободно передвигается по крутым склонам, залезает на деревья. На ветках деревьев чаще всего он развешивает свои старые чулкообразные «рубашки», выползки — отставшие от тела шкурки.

Водяные ужи — искусные рыболовы. Я не раз наблюдал, как, крепко сжав пескаря в пасти, они устремились к берегу, где заглатывали добычу целиком.

У водяных ужей много врагов. Над их колонией, высматривая добычу, постоянно кружат хищные птицы. Нередко посещает змеиный городок лиса...

ния крупноразмерных популяций осетровых.

К числу проходных рыб, встречающихся в Урале, относятся каспийская минога и белорыбца — интереснейшие представители животного мира. Их дальнейшая участь во многом зависит от того, как будет охраняться естественная экологическая система Уральского бассейна.

Минога относится к древнейшему классу круглоротых рыб. У нее змееобразное тело длиной около полуметра, весит она до 260 граммов.

Минога имеет ряд признаков, не свойственных другим видам рыб. Рот этой рыбы — глубокая воронка, присоска, на дне ее находится язык, который, как поршень, то выдвигается, то втягивается. Язык миноги, словно сверло, пробуравливает кожу рыб.

У миноги есть третий глаз — темной, расположенный вблизи но-

Белорыбца — эндемик Каспийского бассейна, то есть нигде в мире, кроме Каспия и его притоков, она не встречается.

Еще совсем недавно белорыбце грозило полное исчезновение: после строительства каскада волжских гидроэлектростанций она лишалась своих естественных нерестилищ, расположенных в реке Уфе. Небольшое каспийское стадо белорыбц поддерживалось за счет нерестилищ в Урале.

Место нереста этих рыб в Урале точно не установлено. Белорыбца входит в реку из Каспия с октября по март. Нерест происходит в октябре — ноябре на гравийно-галечных грунтах. Число белорыбц, нерестующих в Урале, исчисляется, вероятнее всего, несколькими сотнями экземпляров, поскольку во всем каспийском стаде ученые сейчас насчитывают всего около 20 тысяч особей этого вида рыб.

Белорыбца, представитель ло-

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ КАСПИЯ

В бассейне реки Урал обитает около 70 видов рыб. Большинство из них живут здесь оседло, издавна населяя реки и пойменные озера. Особую группу образуют так называемые проходные виды, которые совершают миграции из Каспийского моря в реку Урал для размножения.

У проходных рыб имеются озимые и яровые расы. Озимые — заходят в реку летом и осенью, а перезимовав, нерестятся. Яровые — входят в реку зимой и весной и нерестуют в том же году. Большинство проходных рыб в реке не питаются и живут за счет запасов жира. И, как правило, чем больше энергетические запасы у той или иной особи, тем выше по реке она стремится подняться.

Ежегодно огромные стада проходных рыб устремляются в Урал. Их передовые отряды достигают Илека, Оренбурга и даже Орска. Наиболее многочисленные из них осетровые — севрюга, белуга, шип и осетр.

Из осетровых только стерлядь живет в Урале оседло. Ихтиологическими наблюдениями установлено, что до среднего плеса реки поднимаются самые крупные экземпляры осетровых. Это означает, что оренбургский участок Урала имеет исключительное значение для сохране-

сового отверстия. Хрусталика в нем нет, с его помощью миноги воспринимают только световые ощущения. Этот орган они унаследовали от своих предков, широко распространенных в силурийском и девонском периодах, то есть более 400 миллионов лет назад. Таким образом, миногу можно считать своеобразным живым ископаемым.

Минога ведет паразитический образ жизни, нападая на рыб и питаясь их мясом и кровью.

Миноги, только взрослые особи, входят в Урал осенью, при температуре воды 10—11 градусов. Ведут они себя очень скрытно и наиболее деятельны ночью и в ненастную погоду. Замечено, что в темные безлунные ночи они особенно активны. За сутки, преимущественно за ночь, эти рыбы-змеи, движимые инстинктом размножения, проходят против течения около 50 километров. Нерестятся миноги с марта по июнь на каменистых и галечных грунтах. После нереста миноги погибают.

Каспийская минога в прошлом была очень многочисленна. Она употреблялась в пищу, а также для вытопки жира. В сушеном виде миног жгли вместо свечей. После зарегулирования Волги каспийские миноги потеряли свои основные нерестилища, и ныне их численность невелика.

сосевых рыб, очень близка сигу. Она достигает 120 сантиметров длины и 20 килограммов веса. По своему облику она несколько напоминает общезвестного жереха.

Белорыбца — хищница, но в Урале она не питается. В реку для нереста белорыбца заходит не более двух раз в жизни.

Ближайшая родственница белорыбцы — нельма — обитает в бассейне Северного Ледовитого океана. Именно оттуда, по предположению ученых, она в конце ледникового периода по цепочкам озер перебралась через Каму и Волгу в Каспий и, несколько видоизменившись, стала белорыбцей.

Белорыбца — ценнейшая промысловая рыба, но ныне ее вылов повсеместно запрещен, она занесена в «Красную книгу СССР». Странствиями ученых и рыболовов сейчас удалось поддержать численность белорыбцы искусственным путем. У подножия плотины Волгоградской ГЭС на Волге для белорыбцы насыпаны гравийные нерестилища. Единственным естественным убежищем для воспроизводства белорыбц является Урал.

Анри РАЧКОВ

Рисунки Сергея Григорькина

СЕМЬ ДНЕЙ В ДЖУНГЛЯХ

— Марина, газеты пишут, что у города Монгу, на Замбези, состоится праздник Ку-омбоко. Может, махнем, а?

Прошло полгода, как я работал корреспондентом ТАСС в этой стране, а за пределы Лусаки, ее столицы, мы с женой почти не выезжали. Впрочем, «махнем» — просто сказать: до Монгу, главного города Западной провинции Замбии, около 600 километров. На машине день туда, день там и день обратно... Целых три дня!.. Пришлось давать телеграмму в Москву, просить командировку, согласовывать с послом.

Итак, благословение получено.

Было начало марта — в Замбии, пожалуй, наиболее благоприятный период. Пасмурных дней в это время почти не бывает, а кратковременные грозы сменяются ярким солнцем, и хотя оно поднимается с каждым днем все выше, но жара стоит еще умеренная.

Начиналась территория Кафуйского национального парка. При въезде специальный знак предупреждал, что впереди зона, зараженная мухой цеце. Не успели мы углубиться в чащу, как нас атаковали несметные тучи мух, слепней и прочей жужжащей и жалящей твари.

— Закрывай скорее! — от неожиданности заорал я и, затормозив, бросился задравать окна автомобиля. Но часть насекомых успела залететь.

— Вот, — показал я Марине насекомое размером с ноготь, — познакомься, муха цеце. Только не паникуй: она переносит сонную болезнь, а болеет ею домашний скот. Человек в этих местах не селится: нет скота — нет и болезни.

Справа от нас возникло какое-то движение. Через редкие кусты просвечивала поляна, на которой паслись антилопы. Машина встревожила их, а в панике испуганное



животное стремится немедленно, любой ценой воссоединиться со стадом, от которого оно отбилась. Насмерть перепуганные антилопы летели прямо над капотом... Не забыть этой картины: будто застывшие в высоком полете, грациозные тела, вытянутые в стремительном прыжке стройные ноги с точеными копытцами и расширившиеся, полные ужаса глаза.

...Незнакомец выскочил из встречного грузовика и проголосовал. Я остановился. Высокий, чуть полный брюнет, лет около тридцати, с восточным разрезом глаз. На зевливом, но не очень уверенном английском языке спросил:

— Не могли бы вы подвезти меня в Монгу?

— О'кей, — сказал я и показал на место рядом с собой.

— Я здесь работаю, почти два полных года, — произнес пассажир, тщательно подбирая английские слова. — Я русский доктор...

— Правда? — я перешел на родной язык.

Незнакомец с секунду изумленно глядел на нас, потом громко расхохотался.

— Алим Мурадов из Ташкента!.. Алик...

Оказывается, он ездил оказать помощь одному из шоферов, работающих в провинции на строительстве дороги. Алик уже видел Ку-омбоко, но решил сопроводить нас.

Пересекли городок, свернули с дороги и подъехали к огромному озеру, которое оказалось великой африканской рекой Замбези, разлившейся по долине Бароце.

У небольшой пристани толпилась разношерстная публика: увешанные фотоаппаратами европейские туристы спешили на старинный пароходик, сохранившийся, по видимому, с колониальных времен. Мы прибыли как раз, чтобы успеть на праздник в Леалау — главное селение племени лози, или бароце.

Сезон дождей, обычно начинающийся в конце ноября, в апреле уже завершается; но было начало марта, а уровень воды в долине еще даже не достиг высшей точки. Долина Бароце — гигантский плоский бассейн длиной почти 200 километров; чтобы заполнить его, требуется не-

сколько месяцев. Сток тоже медленный, и вода не уходит долгое время после того, как дожди прекращаются.

С наводнением и связан праздник Ку-омбоко. По мере затопления долины все расположенные в ней деревни постепенно превращаются в острова, но жители не покидают жилищ — они ждут сигнала верховного вождя к общему переселению. Торжественная церемония переселения на холмистые окраины долины и называется «ку-омбоко», значит «уход из воды». Ночью, в канун переселения, в Леалуи разжигают костры и обогревают огромные барабаны, чтобы натянутая на них кожа антилопы стянулась и звук стал более гулким. Королевские барабанщики всю ночь бьют в тамтамы. Услышав сигнал, в соседних деревнях тоже разжигают костры и бьют в тамтамы — и так весть передается по всей долине.

Мы не опоздали к началу праздника. Но по всему берегу сплошной стеной стояла толпа из нескольких сотен туристов — ни протолкаться, ни увидеть, что делается. Оставалось лишь разглядывать гигантскую пирогу с выкрашенными в разные цвета бортами... Это была королевская лодка «Наликванда», рядом стояла еще одна, поменьше — для супруги короля-литунги; на лодках выселись похуже на жину каюты с белой крышей-шатром.

Наша тройца тем временем распалась. Я искал удобную точку для фотосъемки. Марина пыталась протиснуться сквозь толпу. А Алику встретил знакомых африканцев и был настолько поглощен разговором с ними, что я дважды проходил мимо, пытаясь привлечь его внимание, но ему было ни до чего вокруг. Разговор шел на местном языке, как видно, за два года Алику преуспел в нем больше, чем в английском.

В окружении приближенных неспеша проштествовал к пирогам верховный вождь — литунга Мбукусита Леваника. Грузный высокий человек под сияющим солнцем, среди всего тропического антуража смотрелся нелепо: он был одет в неизвестно откуда взывший здесь черный старомодный фрак и такой же черной шляпой. Приближенные со шкурами леопарда на бедрах держались рядом и, видимо, занимали высокое положение; другие, в обычных брюках и белых рубашках, представляли администрацию.

Гребцы уперлись длинными узкими веслами в дно реки, и пирога, сопровождаемая криками и тамтамами, пошла по каналу, за ней двинулась вторая, а следом устремилась целая флотилия из сотен небольших пиригов и каноэ. Флотилии предстояло пройти по залитой долине около 30 километров; но спешить путешественники не будут — они сделают остановку у одного из островков, попируют, отдохнут и только к вечеру придут в Лимулунгу, где их ожидает торжественная встреча с сородичами.

Наше допотопное суденышко бойко шлепает вдолгую к великолепной флотилией. С Аликом что-то происходит: он стал мрачнее тучи. Он хмурился, уклонялся от разговоров, и мы в конце концов перестали докучать ему — это был не тот общительный и благожелательный Алику, это был совершенно другой человек. Мы даже немножко обиделись: конечно, знали его мало, но успели проникнуться к нему симпатией.

Он подошел сам, извинился, сказал, что опасался именно этого — что мы мало его знаем и можем неправильно понять.

— У меня неприятность... Очень серьезная.

История, действительно, оказалась прескверная. В больнице вместе с ним работала медсестрой девушка, Моника, она из этих мест. И сегодня ему сообщили: пока он ездил к шоферам МАЗов, Моника неожиданно покинула больницу и отправилась к родным в деревню. Всем знакомым она сообщила, что едет рожать белого ребенка от Алику...

Многие женщины в Замбии считают белый цвет кожи за благо. Модницы гоняются за кремами, которые реклама рекомендует как отбеливающие, и усердно втирают их в надежде «осветлеть». Молодые африканки соревнуются: чем светлее кожа и цвет лица — тем женщина кра-

сивее. И многие девушки, что греха таить, мечтают родить белого ребенка. Но когда речь идет о «белом отце», а отец-европеец жениться не собирается, то он обязан уплатить пособие в пользу матери и ребенка, и тогда все претензии снимаются.

Так и сообщили Алику его африканские друзья. Не бог весть какая сумма...

— Но с какой стати?! — Алику был изумлен и возмущен беспредельно.

Признать вину, которой не было?.. А узнают в посольстве — там ведь не похвалят. А главное, два года он здесь один, жена не могла выехать из Союза из-за болезни сына — и, наконец, вот-вот они оба приезжают. Господи, и что это взбрело в голову этой Монике, почему она все это напридумывала на него?!

Мы поверили Алику безоговорочно — человека искреннего и честного всегда видно. Но чем мы могли помочь? Он сетовал всю дорогу до Лимулунгу...

Наш пароходик прилепал к месту праздника. Возле деревушки с круглыми крышами хижин собрались тысячи африканцев, европейские туристы затерялись в этой толпе. Когда солнце уже склонялось к горизонту, в конце канала показались обе королевские пироги. Праздник, которому предстояло длиться всю ночь, только начинался.

Мы успели заметить, что Алику и здесь знали. «Добрый колдун» врач Мурадов, оказывается, много успел поехать по окрестным селениям. Люди почтительно здоровались с ним, останавливались поговорить. Ему не составило большого труда пройти в резиденцию вождя и переговорить с министром провинции, приехавшим на праздник. Но «белому» не подобает присутствовать на торжественном пиршестве литунги, и министр назначил встречу на завтра. А поскольку Алику заикнулся ему и про нас, то мы тоже оказались приглашены в гости к министру.

На следующее утро, в назначенное время мы подъехали к вилле. Между собой договорились, что я с женой вскоре уеду, а Алику останется и поговорит о своем деле.

Министр Сийомунджи был очень любезен и рассказал нам много интересного о долине Бароце. Долина, в которой живет одна треть трехсоттысячного населения провинции, могла бы прокормить всю страну, но... Те же беды, что и у нас: не хватает заводов-холодильников, не удается сохранить продукцию, и дороги таковы, что не позволяют перевезти ее в другие районы. Как раз на строительстве дорог заняты тридцать советских МАЗов. Министр сказал много лестных слов в адрес наших автомехаников, обслуживающих по контракту с правительством Замбии минские грузовики, и в адрес страны, поставившей, по его словам, превосходные машины.

— Ваши врачи тоже делают доброе дело, — вдруг сказал министр, — но я пока воздержусь говорить о них, — и он многозначительно посмотрел на Алику, который тут же вспыхнул.

— Я пришел вам сказать, что это неправда! Не было этого!..

— Не было?.. Но ведь утверждают, что девушка была влюблена в вас и вы покровительствовали ей?

— Я знаю Моника. Она хорошая девушка, хотя я не понимаю, что заставило ее солгать. Я думаю, если бы мне довелось самому спросить ее...

Сийомунджи внимательно посмотрел на Алику.

— Вот и отлично, спросите ее сами. Я вам верю, мой молодой друг, но необходимо убедить и других, а для этого есть одно средство: она должна назвать настоящего отца ребенка. Я дам вам людей, вы отправитесь к Монике и в их присутствии зададите свой вопрос. — Министр повернулся ко мне: — Не хотите ли принять участие в этой маленькой экспедиции? В вашем посольстве, наверно, не хотели бы никаких неприятностей?..

— В посольстве Алику поверят, — произнес я, хотя, по правде говоря, далеко не был в этом уверен: вряд ли

станут там особо разбираться — вышлют в два счета, и все тут... Выручать надо Алима.

— А сколько времени займет путешествие?

— Не более трех дней. Возьмете лодку с хорошами гребцами, это опытные люди — они послужат и проводниками, и охраной.

Министр ошибся: путешествие длилось значительно дольше...

Рано утром команда гребцов во главе с их предводителем Мусукой пригнали узкую лодку с плоским дном, длиной метров десять. Рассчитывая путешествовать недолго, мы взяли с собой лишь самое необходимое: зонты от солнца и ружье, чтобы поохотиться. Провизию и деньги Сийомунджи брат не советовал: деньги в деревнях хождения не имеют, а продукты нас снабдят повсюду. Марина, заботливая жена, сунула нам все-таки сверток с бутербродами и консервами.

Мусука, хорошо ориентировавшийся в этих местах, направил лодку не по руслу Замбези, а по свободной от травы протоке. Легкое движение воздуха приятно охладило кожу, но солнце припекало заметно сильнее, чем в Лусаке — мы развернули зонты. Увы, этой защиты лишены были наши спутники. Бароце — с детства тренированные гребцы, но солнце донимало и их, пот градом струился по спинам. Я с беспокойством думал, что пора бы сделать привал, но никто, казалось, не помышлял об этом. Возле очередного острова я не выдержал и кивнул Мусуке в сторону острова: не пора ли, дескать, передохнуть. Мусука тут же пристал к берегу. Я еще не знал, что являюсь не просто пассажиром, а, как старший из двух белых, руководителем нашей маленькой экспедиции, или вождем...

Когда причалили к берегу, Мусука подозвал меня и показал на крупную стаю гусей и уток. Я подкрался, огибая траву, и метров с двадцати разрядил оба ствола прямо в центр стаи. Чернокожие парни с веселым гиком притащили с десятка подбитых птиц, живо выпотрошили их, разожгли костер. Когда вода в котле выкипела, его поставили на землю, и все, молча устроившись вокруг, замерли, потупив глаза.

— Чего они ждут? — шепнул я Алику.

— Вы должны распределить пищу... — так же шепотом ответил он.

Пришлось мне каждому указать его долю. Но и тогда никто не притронулся к еде, пока я первым не надкусил кусочек дичи. У бароце не принято принимать пищу в одиночку, поэтому они должны насытиться прежде, чем общая трапеза кончится. Команду же к ее началу и концу подает старший.

Мы сидели в тени дерева, наблюдая, как вокруг постепенно восстанавливается нарушенная появлением людей мирная жизнь. Галдели сотни птиц. Неподалеку расположились пеликаны, ловившие рыбу. Один вытащил из воды голову на длинной шее с огромным зобом, — в клюве билась большая рыбина. Только птица приготовилась проглотить ее, как сверху спикировал ястреб; пеликан в страхе закрыл глаза и застыл на месте... Хищник ловко выхватил рыбу и взмыл. Пеликан очулся, ошалело поглядел вокруг и, как ни в чем не бывало, снова сунул голову под воду. Африканцы, да и мы с ними, покатались со смеху!

В тропиках темнеет быстро, мы поспешили облюбовать деревню для ночлега. Сразу приставать к берегу не стали, высадились чуть дальше, но на виду у жителей. Появился посланец, который от имени вождя пригласил нас в деревню. Но поскольку подобные визиты связаны с целой церемонией и обычно затягиваются, мы вежливо отказались, объяснив, кто мы и куда направляемся. Гонец удалился, а чуть позже вернулся в сопровождении еще двух людей, нагруженных различной снедью. Вождь приветствует гостей, гласил ответ, приглашает их воспользо-

ваться пустующей хижиной и посылает на ужин «кусочек хлеба». «Кусочек» оказался довольно увесистым и состоял из изрядных порций мяса, молока, творога, фруктов.

От хижины решено было отказаться, но, наверно, напрасно. Африканские хижины отличаются чистотой, днем сохраняют прохладу, а ночью — тепло. Последнее, между прочим, совсем не лишне: ночь в этих местах весьма прохладная. Мне плохо спалось; я вышел погреться к огромному костру, возле которого в двух шалашах спали наши гребцы. Шалаши имели лишь одну стенку, сделанную из веток, наброшенных на жерди; открытой стороной шалаш был повернут к костру, и ничто не мешало теплу обогревать спящих людей. Где-то вдали, впрочем, не так уж далеко, раздавался низкий, глухой рев льва. Я зажег несколько веток. Затрепавший хворост разбудил Мусуку.

— Не беспокойтесь, бвана, — сказал он, — при луне ни один зверь не подойдет близко... Да и по голосу слышно, что лев сыт.

...Второй день выдался менее жаркий. Несколько раз занимался дождик, облегчая работу гребцов. После полудня мы собирались направить лодку к берегу; оставалось с полсотни метров, как вдруг у левого борта метнулось огромное темно-коричневое тело гиппопотама. Сильнейший удар о днище приподнял и опрокинул лодку, мы, как горох, посыпались в воду. Бароце уверенно держался на воде, но их способ плавания, «по-собачьи», все-таки не может сравниться с нашим кролем — мы с Аликом быстро добрались до суши и оглянулись. Кажется, нам выпал полный тропический комплект приключений... Шестеро наших спутников благополучно выбирались из реки, а седьмой, чуть отстав, оказался в стороне. Он был еще по грудь в воде, когда лежавшее у травы полузатонувшее неподвижное бревно вдруг ожило: разинув пасть с огромными редкими зубами, крокодил молниеносным движением настиг отставшего, сбил ударом хвоста и, сомкнув челюсти на его ноге, потащил под воду. Человек отчаянно закричал. Люди бросились на помощь, но африканец уже проявил самообладание: он выхватил из-за пояса нож и стал колоть под лапой чудовища, пока оно не выпустило его из страшной пасти. Беднягу вытащили на берег, из глубоких ран на бедре хлестала кровь.

— Моя сумка с инструментами!.. — кричал Алик и показывал в сторону перевернутой пироги.

Мусука скомандовал, и африканцы группой направились к реке.

— Там же крокодил! — вырвалось у меня.

— Крокодил трусливый, нападает только на одиночек, — ответил Мусука.

Прозрачная вода и небольшая глубина позволили быстро найти затонувшие вещи. Скоро саквояж с инструментами был у Алика, и наш доктор занялся обработкой ран. Я, как мог, помогал ему. Были выловлены и разложены для просушки и все остальные вещи. Лодку вытащили на берег и опрокинули; внимательно осмотрели днище — оно оказалось неповрежденным.

— Почему гиппопотам напал на нас? — спросил я Мусуку.

— Вряд ли он напал... На бегемотов здесь охотятся, поэтому они прячутся в траве, выставив лишь ноздри. Мы случайно наткнулись на одного, он с испугу и толкнул нас «слегка»... Могло бы кончиться хуже, если бы бегемот оказался «отшельником» — состарившимся самцом, которого изгоняют из стада, такой изгой сам нападает на лодку, увечит людей.

Алик в свою очередь сказал, что ему нередко приходится лечить людей, покалеченных крокодилами; африканцы, по его словам, проявляют удивительную беспечность, когда в одиночку ходят к реке мыться...

Разложенные на солнце бинты подсохли, и Алик тщательно перебинтовал бедро раненому. К счастью, кость не пострадала, и больной, опираясь на товарищей, смог доковылять до хижины.

На следующий день мы пришли в нужную нам деревню.

Меня с Аликом позвали к вождю. Тот принял нас на «кгогле» — месте, предназначенном для сельской сходки. Предводитель и старейшины, опоясанные бычьими шкурами, сидели в тени большого дерева, остальные жители толпились у края площадки.

Вождь предложил нам сесть рядом и через переводчика обратился ко мне с вопросом, кто мы и откуда прибыли. Признаться, я так и не привык к неожиданно выпавшей мне роли «вождя» группы. Но и тушеваться не стал. Я сказал, что мы с Аликом прибыли из далекой и очень большой державы: он — чтобы лечить больных, я — чтобы рассказывать об этой стране и ее людях. Вождь поднял с земли шепотку пыли, в знак высокого почтения растер ее на плечах и на лбу и торжественно приветст-

Вяснилось, что он случайно услышал в Монгу название родного села и только поэтому предложил свои услуги. Мы были в полной растерянности. В этот момент подошел один из старейшин; он сказал, что после нашего ухода вождь велел спросить людей, не слышал ли кто-нибудь о Монике.

— Этот парень, его зовут Пири, — он показал на невысокого африканца, — может кое-что сообщить.

Парень рассказал, что часто ходит менять разные вещи в деревни, где живут балунда, одно из крупнейших племен. И он слышал, что вернулась девушка, которая утверждает, что будет рожать белого ребенка. По его сведениям, до деревни один дневной переход.

— Я пойду, — сказал Алик.

Мусука и его товарищи, кроме раненого, решили сопровождать нас и дальше.



вовал великую страну, приславшую к ним столь замечательных людей...

На трапезе подавали говядину, мясо бегемота, африканский хлеб-маниоку, различные острые приправы и легкий хмельной напиток — «бояло». Бегемотина была похожа на жареную свинину, только еще ароматнее и нежнее.

Алик наконец не выдержал:

— Как поживает Моника? Она работала помощницей у меня в больнице, а на днях вернулась домой.

Подумав, вождь ответил, что хорошо знает всех жителей деревни, но Моника среди них нет...

Мы первым делом вызвали Мусуку и сообщили ему эту новость. Тот привел Капуку.

— Ты обещал министру, что приведешь белых к Монике. Где она?

— Не знаю никакой Моника, я обещал лишь привести в эту деревню!..

На следующее утро отряд отправился в путь. Мы надеялись достичь злополучной деревни к вечеру, но пеший этап нашего путешествия оказался сложнее, чем водный...

Европейцев в здешних деревнях видели редко, встреча с белыми людьми приводила африканцев в состояние растерянности. Алик пытался заговорить с ними на языке бароче, весьма схожем с языком балунда, но они только пучали глаза и не могли произнести ничего путного. Пири предупредил, что скоро будет «порченная» деревня; на этот раз он не обошел селение стороной, а провел нас прямо по улице. Улица полностью заросла травой, поднявшейся чуть не выше частокола. И люди показались нам какими-то странными: одни валялись вповалку у изгороди, спали или ворочались с боку на бок, другие стояли, прислонившись к хижине или дереву, третьи слонялись без всякой видимой цели. Вялые и апатичные, они не обращали на нас никакого внимания.

— Порченые люди, — сказал Пири, — много пьют боа-ло, — и выразительно опрокинул в рот воображаемый стакан.

— Да это просто алкоголики, — догадался Алик. — В Замбии редко встретишь пьяных, их здесь презирают, а эти — настоящие доходяги...

Деревня производила впечатление вымирающей. Детей вообще не было видно. Мужчины и женщины, не зараженные алкоголем, вероятно, покинули зачумленное место.

Лес стал гуще, то и дело приходилось пускать в ход топоры и ножи. Обрубленные ветки нещадно нас царапали, цеплялись за рюкзаки. Мы с Аликом были защищены брюками, куртками, прочными кроссовками; нашим же товарищам, одетым в короткие штаны и майки, приходилось туго. Хорошо еще, что в здешних местах нет колючек.

Идти напрямую стало невозможно. Мы отыскивали еле заметные тропинки, но они петляли в разные стороны и словно специально запутывали нас. До поры до времени Пири вел уверенно, но кривые дорожки и его поставили в тупик. Стало ясно, что пора подумать о пристанище для ночлега: остаться ночью в гуще заросшего лианами леса — перспектива малоприятная. Проплутав еще с полчаса, мы выбрались на поляну и с облегчением увидели на другом конце ее одинокую хижину. Африканцы тут же принялись строить свои однобокие шалаши, полагая, что стеснят нас, если останутся с нами под одной крышей.

Мы с Аликом в поисках входа обошли хижину кругом, отодвинули какое-то деревянное чудище — нечто среднее между крокодилем и львом, — но никакого отверстия не обнаружили. Обратились за помощью к Пири. Тот вытаскил из стенки пару кольев и объяснил, что балунда, в отличие от бароце, не оставляет вход свободным, а маскируют его. Вряд ли это — мера предосторожности для защиты от зверей: скорее всего, балунда меньше доверяют друг другу.

Мы укладывали наши пожитки на камышовые циновки, когда снаружи встревоженным голосом нас позвал Мусука. Выбравшись из жилища, мы увидели, что все шестеро африканцев, бросив недостроенные шалаши, с тревогой глядят в сторону леса. Шагах в тридцати, в зарослях, мы увидели чернокожие фигуры, потрясавшие копьями. Военные возгласы не оставляли сомнения в их враждебности. Их было не менее двух десятков — против нас, восьмерых.

В этот критический момент молодцом показал себя Алик. Он спокойно вышел вперед, потер себе лоб и плечи, протянул руки ладонями вверх:

— Мы пришли к вам с миром!

Неизвестные, удивившись белому, говорившему на их языке, молчали. Один из них сделал шаг вперед.

— Кто ваш вождь?

Я, как подобает важному лицу, не торопясь, выступил вперед, похлопал в ладоши и сказал по-русски как можно торжественнее:

— Приветствуем и желаем мира!

Алик перевел.

— Кто вы и почему заняли хижину? — последовал их вопрос.

Оказывается, мы вступили в расположение деревни без разрешения. Я объяснил, что мы неумышленно нарушили их покой и просим извинить нас, чужеземцев. Африканец, видимо, был удовлетворен и похлопал ладонями.

— Вы находитесь на территории вождя Нимоаны, дочери великого Катемы... Я — ее муж, меня зовут Чикампа.

У этого племени вождь — женщина!.. Я, в свою очередь, тоже представился и попросил разрешения остаться переночевать. Чикампа от имени жены пригласил нас располагаться и добавил, что утром Нимоана будет ждать нас.

Мы, естественно, с любопытством ожидали встречи с

женщиной-вождем. Но представшая утром картина все-таки удивила нас... Посреди кюглы, на возвышении, восседала женщина лет тридцати, небольшая, несомненно, она была хороша собой, но... абсолютно нага! Ей не было никакого дела до нашей оторопелости: эта женщина-королева имела собственное представление о красоте и, ду-маю, была права.

Часть женщин была одета в платья из красной или синей хлопчатобумажной ткани, часть предпочитала оставаться обнаженными. «Модницы» отличались прическами. У Нимоаны были короткие курчавые волосы; ее молодые соплеменницы носили два вида причесок — либо огромные шапки вьющихся волос, либо сотни длинных косичек, мми-тирующих, видимо, прямые волосы европейцев.

Нимоана взмахнула рукой. Из-за ближайшей хижины выбежала группа причудливо одетых, вооруженных копьями мужчин, с крупными кольцами, гремевшими на шее, запястьях и лодыжках — начался воинственный танец. И, надо же, разразилась давно собиравшаяся гроза: сверкнула молния, хлынул ливень, потоки воды обрушились на нас со всех сторон. Нимоана продолжала сидеть, не шелохнувшись, с суровым вниманием наблюдая за праздником; никто из ее приближенных или деревенских жителей не сдвинулся с места. Нам ничего не оставалось, как сделать вид, будто проливного дождя нет и в помине.

К счастью, ливень оказался быстротечным. Как бы завершая представление, выглянуло яркое солнце, быстро просушившее лужи.

Нимоана объявила о начале переговоров:

— Кто у вас будет переводчиком?

Я показал на Пири, который знал местный диалект.

— Нет, лучше он, — палец королевы нацелился на Алика, — мне сказали, что большой белый господин знает язык бароце. А моим переводчиком будет Чикампа.

Далее разговор пошел по цепочке: с языка балунда на язык бароце, а с бароце — на русский, и обратно, в той же последовательности. Каждая фраза, таким образом, произносилась громко и отчетливо по нескольку раз; с особым вниманием африканцы выслушивали ее русский вариант.

Я сообщил, что мы приехали из большой страны на севере, где очень холодно и идет снег.

— Что такое снег? — перебила Нимоана.

— Когда холодно, дождь застывает, и вместо него с неба падают белые пушистые комочки...

— Оттого у вас и кожа белая?

— Нет, скорее, у вас кожа темнеет от солнца...

— Я и говорю: от горячего солнца кожа черная, а от холодного снега — белая.

— Может быть, — согласился я.

Взгляд ее упал на Пири и посуровел.

— А что делает он? Почему он с вами?

— Пири наш проводник, — ответил я, удивленный перемены в ее настроении.

— Он не проводник, а злой колдун! Он был здесь недавно и околдовал моего сына!

Растерянный Пири поднялся, но Нимоана, не дав ему говорить, вскочила с «трона» и, уперев руки в бока, разразилась ужасной руганью. Мне едва успевали переводить смысл: Пири принес какую-то рубашку на обмен, сын Нимоаны ее одел и тут же сломал руку, наверное, он теперь умрет. Всю эту чепуху Нимоана вылепила, сотрясаясь от гнева, начисто забыв о своей роли вождя и напоминая самую обыкновенную базарную бабу... Но это для нас она превратилась в крикливую женщину, а для своих воинов она продолжала оставаться вождем, исполненным праведного гнева.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но Алик, воспользовавшись первой же паузой, решительно сделал шаг навстречу разъяренной женщине.

— Позволь мне осмотреть твоего ребенка.

Его статная фигура и спокойный голос отрезвляюще действовали на Нимоану. Она вернулась на свое ме-

сто, приняла приличествующую позу и важно сказала:
— Хорошо, белый человек, тебя проводят. Я доверяю тебе.

У мальчика оказался не перелом, а всего лишь вывих. Алик сделал укол, осторожно вправил плечо и появился перед нами, ведя за здоровую руку своего маленького пациента. Обрадованная мать, быстро ощутив сынишку и убедившись, что он вовсе не собирается умирать, ласково обратилась к исцелителю:

— Я вижу, ты — добрый колдун! Скажи, чего ты хочешь в знак моей благодарности?

— Я хотел бы, чтобы ты простила Пири.

Нимоана нахмурилась. Но здравый смысл взял верх.

— Но пристало ли мне мириться с теми, кто мне не ровня? — сомневалась она.

— Этой беде можно помочь. Вот Мусука, он — лич-

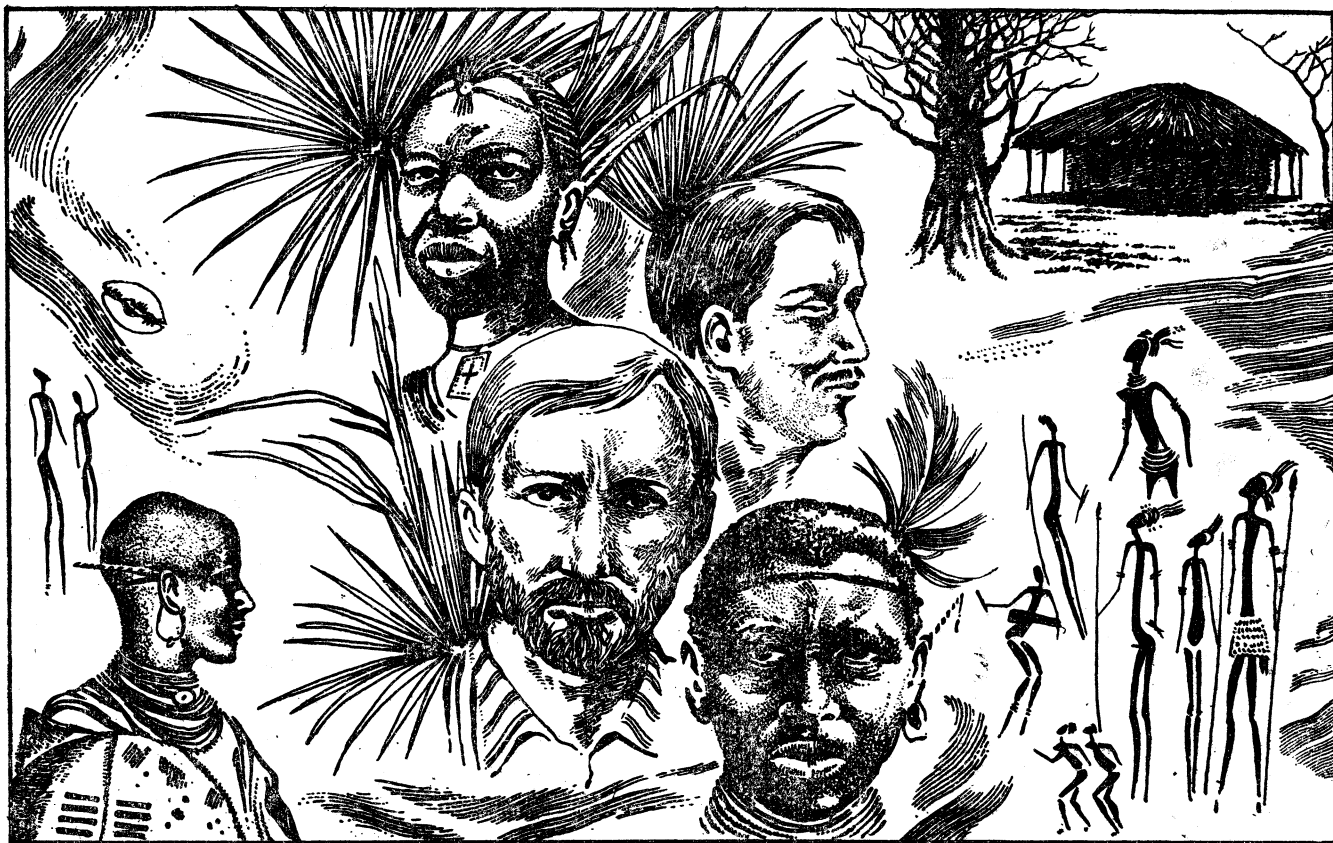
свой горшок с пивом, и оба торжественно отпили по несколько глотков. Отныне они будут считаться кровными родственниками и должны во всем помогать друг другу. Обида, нанесенная одному, распространялась и на другого. Горшок Чикампы пошел по кругу среди бароце, горшок Мусуки — среди балунда.

Появились новые горшки и кувшины с бояло. На краю кротлы установили тамтамы и маримбу. Начинаясь большой праздник, в котором самое активное участие приняли наши спутники; не так-то просто было их отыскать в толпе, а ведь нам следовало торопиться. Отойдя в сторонку, мы с Аликом советовались, как нам «выудить» наших путешественников. К нам подошла Нимоана.

— Если ты колдун, ты должен исцелить и меня.

— Я не колдун, а доктор... Что у тебя болит?

Она показала на затылок:



ный представитель министерства провинции, а министр — родня верховному вождю бароце...

Умница Мусука сразу сообразил, какую роль он может сыграть в урегулировании конфликта.

— Я согласен принять участие в касенди!

Касенди — предстоящая церемония примирения — известна среди местных племен: это церемония породнения и заключения дружбы.

— Пусть так и будет! — Нимоана похлопала в ладоши. — Но ты все-таки не вождь, поэтому с нашей стороны в касенди будет участвовать Чикампа.

Ее подчиненные принесли два больших горшка с пивом бояло и поставили их перед двумя главными участниками церемонии. Нимоана взяла острый нож, сделала небольшой надрез на лбу Мусуки и размешала капельки крови в стоящем перед ней сосуде. Эту же операцию она проделала со своим мужем. Каждый из них подал другому

— Там...

Алик пощупав ее лоб, проверил пульс. «Типичное ОРЗ», — проговорил он, и мне стало смешно, что такой знакомый диагноз я слышу здесь, в Африке, что его можно поставить и знойной королеве.

— Вот тебе лекарство, — Алик высыпал из пачки три таблетки аспирина. — Выпей одну сейчас, одну вечером и одну завтра утром.

— Дай ей про запас, — шепнул я, — вряд ли мы вернемся.

Он мне так же шепотом ответил:

— Она и эти-то примет все сразу... Но главное, что нужно сделать, — он снова повернулся к королеве, — одень на себя что-нибудь.

— Разве я тебе не нравлюсь такая?

— Болезнь можно изгнать теплом, — терпеливо объяснял он ей. — Нельзя сидеть под дождем голой...

Нимоана с досады даже топнула ногой.

Мы отыскивали Мусуку и Пири, с их помощью нашли остальных. У хижины уже ждали двое парней, которым Нимоана приказала показывать нам дорогу...

...Показались круглые макушки хижин, и Пири заявил, что по всем признакам — это та самая деревня. На опушке леса, возле утыканного деревяшками глиняного идола, стояли молодые женщины и встревоженно смотрели в нашу сторону. Обнаженные тела женщин были густо смазаны жиром и красной краской: первое защищало от непогоды, а второе заменяло одежду.

— Я схожу разузнать, — сказал Мусука.

Через некоторое время он вернулся.

— В деревне есть девушка, которая недавно вернулась из Монгу, только ее зовут не Моника, а — Монеко. Она ждет ребенка от белого, но никто ей не верит, женщины считают, что она просто хвастает.

— Мусука, ты иди к вождю, — решил я, — а мы тем временем найдем Моника.

Но молва летела впереди нас. Не успели мы подойти к деревне, как увидели, что к нам бежит совсем молоденькая девушка в светлом платье. Она упала на землю и обхватила руками ноги Алика:

— Простите, простите меня!.. Мистер Алим, простите меня!..

Алик заставил ее встать, и мы увидели хорошенькое лицо, залитое слезами.

— Успокойся, Моника, успокойся. Скажи только, зачем ты это сделала?

— Меня научил доктор Жан...

— Но для чего же?!

— Чтобы вы взяли меня в жены, — пролепетала она, — он говорил, что все русские боятся начальства и всегда женятся...

— Это невозможно, у меня есть жена.

— Я думала, что смогу стать вам хорошей второй женой, ведь я давно уже не люблю доктора Жана.

Ну и Жан... Вот с ним уж Алику никак не объяснить: он отработал по контракту и недавно уехал домой, во Францию.

Вождь Машавана, предводитель большой деревни, насчитывающей более ста хижин, был крупный, сурового вида мужчина, лет пятидесяти. За обедом нас обслуживало с десяток слуг и служанок. Повод оказался весьма торжественный: Машавана выдавал замуж дочь. И не просто выдавал, а устраивал конкурс женихов-претендентов, из которых девушка сама должна себе выбрать мужа.

— Разве не мужчины балунда выбирают жену? — удивился я.

— Это так, но моя дочь сама выберет мужа.

Власть вождя повсюду сильнее установившихся традиций...

Нас посадили на почетное место — по правую руку от Машаваны, расположившегося на шкуре леопарда. Под нами тоже были шкуры, но не леопарда, а зебры. По другую сторону от вождя находились его приближенные, позади — его первая жена и дочь, очень привлекательная особа лет шестнадцати.

Праздничная церемония открывалась военным парадом. Молодые воины, вооруженные копиями и луками, пританцовывая под ритмы маримбы и тамтамов, продефилировали по площадке, подняв тучу пыли.

Машавана провозгласил:

— Кто из вас самый сильный и самый красивый — пусть выйдет, и я отдам ему свою дочь!

С десяток молодых людей — из числа воинов и из числа жителей — вышли вперед. Их число показалось вождю слишком большим, и он повелительным жестом отослал некоторых прочь. Осталось пятеро.

— Теперь пусть она сама выберет наиболее достойного! — повелел Машавана.

Его дочка, ни минуты не колеблясь, без тени смущения выбежала вперед, схватила за руку самого красивого парня, и оба под смех и одобрение собравшихся скрылись. На котле началось традиционное музыкально-танцевальное представление. Веселье было в самом разгаре, когда Машавана снова поднялся и объявил, что начинает слушать дела по проступкам, совершенным жителями деревни. Суд на котле — дело обычное.

Первым разбиралось дело о воровстве. Один житель обвинял другого, что тот регулярно собирал урожай не с собственного, а с соседнего огорода, пока не был пойман с поличным. Выслушав обе стороны, Машавана вынес вердикт: виновный обязан потрудиться на огороде потерпевшего ровно столько, сколько необходимо, чтобы отработать долг в двойном размере. Решение вождя показалось нам справедливым.

Второе дело касалось колдовства. Одного из жителей обвиняли в том, что он кого-то «околдовал», и тот вследствие этого умер. Разумеется, это был чистейший вздор — человек мог умереть собственной смертью. Но Машавана был иного мнения.

— Ты взял у меня сына и взамен должен отдать своего, — заявил он «виновнику», поскольку вождь считается «отцом» для всех жителей деревни, — он будет служить в моем доме.

Третьим делом была заваруха с нашей Моникой. Мы с Аликом переглянулись: решение второго вопроса нам совсем не понравилось... Дрожая от страха Моника ступила на площадку. Она обвиняется в том, что обманула одного из присутствующих здесь гостей. Моника и не думала оправдываться. Она встала на колени перед Аликом, выражая высшую степень раскаяния, и заплакала.

— Простите меня, бвана Алим...

Алик обратился к вождю:

— Если эта девушка виновата передо мной, я прощаю ее.

— Но она опозорила мою деревню, — возразил вождь, — и я не могу простить ее, она заслуживает сурового наказания. Однако наш гость ее прощает, и я не буду ее наказывать, а возьму к себе в служанки.

Ужас, какой финал... Девушка, которая еще недавно работала медсестрой в современной больнице и которая могла вернуться туда, приговаривалась быть по сути рабыней... И ребенок, которого она должна родить, станет рабом... Получилось так, что мы всю жизнь Моника привели к катастрофе! Как ей помочь теперь?

Алик нашел, наверное, единственный шанс для ее избавления.

— Монеко и я были и остаемся друзьями, — твердо проговорил он. — Я предлагаю скрепить нашу дружбу по обычаю вашего народа — ритуалом касенди. И если вы все тоже примете участие, мы заключим дружбу между балунда и мсим народом.

— Касенди! Касенди! — зашумела вся толпа.

— Касенди! — почел за лучшее и Машавана. — Как зовут твой народ?

— Узбеки.

— Мы заключим союз нашего друга Алима и Монеко, как брата и сестры, и закрепим дружбу балунда и узбеков.

И опять появились два горшка с бояло...

...Обратный путь до Монгу занял всего два дня. Еще через день мы с Мариной прибыли в Лусаку. Вместо трех дней я отсутствовал одиннадцать. Обеспокоенному послу я подробно рассказал о наших приключениях, и он, готовый было сурово распечь меня, смягчился: в конце концов, речь шла о чести человека (и о неприятностях для самого посла, — подумал я). А на запрос Москвы я сообщил, что меня задержали непредвиденные обстоятельства.

БИОГРАФИЯ «КОЗЛА»

Уважаемая редакция!

Прошу Вас опубликовать в одном из ближайших номеров правила игры в кости. Столь популярная некогда игра, незаслуженно забытая наряду с другими, довольно часто упоминается в литературных произведениях. В частности, у Эдварда Бульвер-Литтона в кости играют еще древние помпейцы. Однако подробно разложить правила мне никак не удается. Хочу это сделать еще и потому, что сегодня на смену древним приходят такие игры, как «Менеджер», «Акционер», чрезмерная сложность которых, громоздкость расчетов делают их неудобными для пользования, резко снижают популярность. Примитивизм же игр прошлого, романтичность придает им, мне кажется, особую ценность и обаяние.

П. НЕХОРОШЕВ.

Оренбургская обл.,
Кувандыкский район, пос. Сара

Прежде всего, спасибо за хороший вопрос, уважаемый П., не указавший, к сожалению, своего имени! Ведь хотя, как оказалось, ответить на него коротко и точно не так-то легко, он помог разыскать материал, любопытный, надеюсь, не только для автора.

Не стоит, видимо, подробно пересказывать правила игры в домино — пресловутого «козла» — единственного прямого наследника «костей», дошедшего до наших дней. А вот его предшественники явно заслуживают нашего внимания. Не только помпейцы, как справедливо писал лорд Литтон в своем романе «Последние дни Помпеи» были заядлыми «козлятиками». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (С.-Петербург, 1895 г.) сообщает, что изобретение костей в старину приписывалось лидийцам, египтянам или грекам — «в лице Паламеда». В Греции они служили, кроме игры, для гаданий и делились на кубы (прообраз современных шестигранных кубиков с намеченными очками от одного до шести) и астрагалы. В кубы играли в чет и нечет — по числу очков на брошенной кости, а также другие игры, смысл которых состоял в попадании кости в отверстие, проверченное в дощечке, или начерченный круг. Астрагалы использовались для более серьезных занятий: баталей на деньги (причем каждый удар астрагала имел имя бога, героя, известного мужа или гетеры) и — гаданий, посвященных богу Гермесу. Гадание астра-

галами вообще, по-видимому, занимало особое место в жизни древних. Кости — вплоть до золотых — бросали в воду или на специальные таблицы с написанными на них советами, изречениями житейской мудрости, порой — в стихах. Стремление сочетать метание костей с таблицей, — продолжает автор энциклопедической статьи, — вызвало в десятом веке изобретение кембрезийским епископом Вибольдом особой игры, где числу очков, получаемых на трех костях, соответствовали названия добродетелей. Игра эта стоит в связи с целой системой гаданий и исчислений, основанной на отношении букв к цифрам и перешедшей в Европу от арабов, у которых существовала целая наука, посвященная изучению мистической силы букв. По мнению одного из исследователей, своим происхождением игра Вибольда обязана также пифагорической игре, или ритмомахии («бою чисел»), похожей на шахматную, но с заменой фигур костями, изобретенной, в свою очередь, современником Вибольда Гербертом (впоследствии — папа Сильвестр II) и пользовавшейся большим распространением. Как видим, уважаемый П., слухи о «примитивизме» игр древних далеко не всегда соответствуют действительности. Впрочем, кроме целей сугубо религиозных и, так сказать, развивающих, благочестивый епископ изобретал свою игру еще и затем, чтобы отучить монахов от азартной игры в кости, охватившей все тогдашнее общество. Увы, история бедствий, причиненных людям страстью азарта, насчитывает уже многие века. Еще Ювенал бичевал в своих сатирах игроков, а средневековая литература просто переполнена жалобами на разорение от игры в кости, ставшей настоящей болезнью не только для рыцарей, горожан, но и целых народов. Как гласит предание, даже апостол Петр, спускаясь в ад, взял с собой специальную доску и три кости, чтобы обыграть человека, стерегущего грешников. Один из средневековых романов изображает рыцарей Круглого Стола, играющих с королем Артуром, причем игра оканчивается, как это часто бывало, дракой, которой не избежал, кстати, и апостол Петр. Видимо, и по этой причине первоначальное изобретение костей довольно часто приписывалось дьяволу, который, по одной из версий, велел отметить точки: одну — против Бога, вторую — против Бога и Богородицы, третью — против Троицы и так далее. Многие короли и правительства издавали указы, запрещающие «исчадие дьявола», однако это не помогало: вслед за таким указом 1369 года, например, был тут же издан следующий — против распространившихся подпольных костей. Уже существовали целые мастерские по выделке костей, довольно многочисленный клан ремесленников индустрии азарта, бороться с которым было нелегко. Не знаю, что конкретно могло спасти Европу от «костяной чумы», если она действительно имела место. Возможно, то обстоятельство, что кости продолжали использоваться и для гаданий, забавы, уступив в конце концов лидерство в «поединках страсти» картам. Во Франции, Англии, на Сицилии костями все чаще и чаще стали пользоваться лишь по самым добрым праздникам — на Рождество и в Новый год. В новой же истории, — заканчивает словарь свой краткий ретроспективный экскурс, — кости значительно теряют свою популярность.

Такова долгая и непростая биография «костей» в чистом виде, повторимся, сохранившихся лишь в виде «козла». Есть в ней и дурные строки, но есть и поучительные. Что, как не кость, кубик, лежит в основе многочисленных современных детских игр? Без нее, то есть без него, не было бы ни «Менеджера», ни «Акционера», ни «Монополии». Больше того. Сдается, что развлечения древних стали и прообразом нынешних компьютерных игр, действительно, связанных с напряженной работой головы, требующих хорошей реакции... Но так ли уж это плохо? Надо ли нам сегодня, в бурное наше время, искать примитивного, бесполезного для практической жизни отдыха?

Думаю, осмысливая опыт развлечений предков, стоит взять на вооружение лучшую его часть — ту, что «от Бога», и постараться избавиться наконец от «дьявольского» начала.

Подготовил А. ПОНИЗОВКИН

ЗООСАД

Георгий МУРЗИН

НА

Д МОНЕТАХ

Древние монеты приходят к нам из разных кладов. Известны колодезные клады, которые находятся в колодцах или источниках. Мы бросаем монеты в воду, в надежде побывать еще раз в местах, которые нам запомнились; а в античные времена в ходу был обычай бросать монеты, надеясь на исцеление от болезни, или в знак благодарности за излечение.

Клад — это всегда сюрприз. В 1965 году в венгерском городе Дебрецене были обнаружены 273 серебряные римские монеты. Но это был не клад, а подобранная нумизматическая коллекция, которая прошла через многие столетия, чтобы рассказать о благородной страсти древнего коллекционера и стать частью экспозиции городского музея. В селе Койнаре в Болгарии был найден старинный глиняный сосуд с двумястами монетами, отчеканенными в Риме в течение трех столетий — начиная со II века до нашей эры. В кладе не было одинаковых монет, это тоже оказалась коллекция, владелец которой жил на окраине Римской империи во времена ее расцвета; в своем увлечении монетами этот нумизмат опередил ученых на полтора тысячелетия.

Монеты — объективные свидетели истории. По ним можно судить о могуществе государства, об его экономическом состоянии, о его богатстве, сражениях и войнах, которые оно вело, об архитектуре, о почитаемых божествах, орудиях труда и оружии, костюмах...

И, конечно, — о фауне. Монеты с изображениями животных представляют особый интерес. Их немало!

На греческих и римских монетах часто изображается Афродита при езде в биге или квадриге — в паре или четверке лошадей, запряженных в колесницу. Итак, первое животное, появившееся на реверсе монет, — это лошадь.

Артемиды, тоже дочь Зевса, в римском культе приравненная к Диане, — богиня охоты, владычица зверей. Сопровождающий ее олень — еще одно животное, изображение которого появилось на монетах в античные времена.

В селе Орловке Одесской области в 1967 году был найден редчайший клад монет, выпущенных в VI—IV веках до нашей эры в греческом городе Кизике. Этот город был единственным из греческих городов, где чеканились монеты из сплава — природного сплава золота и серебра из реки Пактола, так называемые кизи-

кины. Гербом города был туец — это третье животное на древних монетах.

Однажды грузинский школьник на берегу Черного моря около Сухуми нашел хорошо сохранившуюся золотую монету, на одной стороне которой была изображена богиня войны Афина, на другой — богиня победы Нике. На монете сохранилась надпись — имя царя Филиппа Македонского, а также знак змеи. Вот и четвертое животное в нашем обзоре.

На древних монетах можно увидеть орла. Этот символ богов и светской власти изображался на монетах Египетского царства и Рима, на греческих монетах (в частности, на серебряной дидрадраме Олимпи, 360 год до н. э.). На римских монетах рядом с изображениями Ромула и Рема — кормящая их волчица. Афинские серебряные монеты с конца VI века до н. э. имеют постоянное изображение совы на оборотной стороне. В VII—IV веках до н. э. на статарах города Фокеи появляется

тыюлень. На милетских статарах VII—V веков до н. э. мы видим голову льва; лев изображен также на серебряной драхме Мессалии (около 350 года до н. э.). На серебряных монетах Эгины — изображение сухопутной черепахи — эмблемы этого города. На монетах города Эфеса изображалась медоносная пчела. Дельфин — персонаж древнегреческой мифологии — также встречается на греческих монетах.

В последние века время от времени появлялись отдельные монеты, героями которых были животные. В XVIII—XIX веках выпускались охотничьи монеты на территории будущей Германии с изображением сцен охоты и ее трофеев — оленей, медведей, зайцев, птиц. В России в XVIII веке была выпущена целая медная серия с двумя соболями — так называемые сибирские монеты. В СССР в 1922 году 2-й Государственной шорно-фулярной и чемоданной фабрикой в Петрограде штамповались металлические боны с изображением лося: из красной меди — знаки 5 руб. и 5 коп., из лагуни — 3 руб., из алюминия — 1 рубль. Затем были выпущены алюминиевые боны достоинством в 1, 2 и 3 копейки. Но за все это время выпуск монет с изображением животных носил

эпизодический характер и был скорее исключением, чем правилом.

Наиболее богато в монетах представлен животный мир Африки. На втором месте стоит американский континент. Затем следует Европа, четвертое и пятое места делят между собой Азия с Австралией и Океанией.

Самое крупное животное на суше — африканский слон. Он изображен на монетах Либерии достоинством 1 и 5 центов 1960 года, на монетах Бельгийского Конго — 1 и 2 франка 1946 года. На никелевой монете Малави 20 тамбала 1971 года представлена слониха со слоненком. На монетах Сомали из красной бронзы в 1, 5 и 10 центезимо изображена голова слона; на самой крупной монете из этой серии слон выглядит величаво, зная себе цену, смотрит спокойно, добродушно и миролюбиво, хотя и с заметной укоризной, адресованной потенциальным охотникам на словес.

Совсем не миролюбиво смотрят на нас крокодилы, и для этого есть причина: человек охотится за их шкурой и вкусным мясом. На монете Гамбии 1 даласи 1971 года изображен африканский узкорылый крокодил. К тому же роду относится и новогвинейский крокодил на монете Папуа-Новая Гвинея 1 кина 1976 года. Есть крокодилы на монетах Ямайки 5 центов 1984 года, на одном никелевом песо 1981 года Кубы, на пятицентовике 1979 года Кирибати.

Обширно представлены антилопы. На монете Эфиопии 10 центов 1976 года из желтой бронзы изображена горная ньяла, несущая большие рога — одна из наиболее редких и малоизученных антилоп. Монета Джибути 2 франка 1977 года (алюминий) представляет коровьих антилоп — топи. На двухцентовике красной бронзы Южноафриканской республики представлена еще одна из коровьих антилоп — голубой гну. Это довольно странное творение природы — большая тяжелая голова на сильной короткой шее, с причудливо изогнутыми рогами, похожими на рога африканского буйвола в миниатюре, густо опушенный, похожий издали на лошадиный, хвост, косматая грива на горле, на лбу и на зашееке (можно подумать, что творец создавал это животное по остаточному принципу). Совсем не случайно великий комбинатор из романа Ильфа и Петрова Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей назвал автомобиль, собранный из старья любителем-механиком Адамом Казимировичем Козлевичем, «Антилопа-Гну».

На никелевой монете Ботсваны 10 тхебе 1976 года изображен капский орикс, отличающийся массой до 200 кг и длинными, до 120 сантиметров, рогами, прямыми, точно шпага.

Рогами орикс может убить даже льва. Адакс — представитель подсемейства саблерогих антилоп. Напоминает орикса, но стройнее и мельче. В беге уступает верблюдам, лошадям и собакам кочевых жителей пустыни, поэтому охота является причиной катастрофического сокращения его численности. Эта антилопа красуется на многих монетах: 100 франков 1972 года Конго, 5 и 25 франков 1972 года Камеруна.

Тростниковые козлы — на монетах Замбии; песчаная газель — на многочисленных монетах Того, Катара и Дубай, Объединенных Арабских Эмиратов, Французской Западной Африки. Спрингбок (прыгун), некрупная газель — на монетах ЮАР. Самая замечательная особенность спрингбока — обширная продольная складка на спине, покрытая изнутри ослепительно белым мехом. Завидев опасность, спрингбок начинает подпрыгивать на месте, отталкиваясь одновременно всеми ногами, без видимых усилий, словно резиновый мяч. Во время прыжков животное собирает все копыта в одну точку, края кожной складки расходятся, и белый мех начинает сверкать, предупреждая стадо об опасности. Раньше спрингбоки мигрировали: в некоторых местах достигали моря, пили соленую воду и погибали. Горы трупов громоздились тогда вдоль берега сплошным валом на протяжении более 50 километров. На монете Южноафриканской Республики достоинством 1 ранд 1977 года спрингбок запечатлен в прыжке.

Интересны для коллекционеров монеты Ирландии, где большое внимание, даже уважение, уделено домашним животным: домашняя свинья с поросятами, курица ведет цыплят, бык выставил рога... Желанные объекты любителей охоты — заяц-беляк, вальдшнеп — тоже отражены на реверсах. Еще охотничья тема — ирландский волкодав на монете в 6 пенсов 1968 года, ирландская лошадь — на монетах в полкроны 1955 года и на 20-пенсовике 1986 года. На никелевых монетах 1 флорин 1966 года и 10 пенсов 1973 года — изображение семги. Это не ностальгия по деликатесу: Ирландия внесла огромный вклад в защиту своих рек от загрязнения, и атлантический лосось стал заходить теперь даже в реки соседней Великобритании, в Темзу, куда десятилетиями не заходил из-за высокой загрязненности.

Можно много рассказывать о животном мире Австралии. На монетах большого формата из красной бронзы достоинством 1/2 и 1 пенни 1950/60 годов изображен большой рыжий кенгуру — это животное можно считать «визиткой» Австралии. Целое стадо кенгуру изображено на одном долларе 1989 года. Из ближ-

них и дальних родственников австралийского прыгуна стоит назвать сумчатую летягу из группы летающих опоссумов, населяющих эвкалиптовые леса всей Восточной Австралии, — изображение одноцентовика 1966 года.

На животных не только смотришь и любишь; встретив незнакомый вид, непременно захочешь о нем узнать. Вот на монете 2 цента 1966 года замерла плащеносная ящерица. Своим названием она обязана охватывающему ее шею ярко раскрашенному воротнику, или плащу. В случае опасности воротник мгновенно развертывается, как зонтик, до 15 сантиметров в диаметре, одновременно широко раскрывается ослепительная фыркающая пасть. Даже собаки не решаются схватить такую ящерицу.

Дарам моря посвящена серия монет Исландии. Каракатица красуется на монете 10 эйре 1981 года, она имеет чернильную железу, секрет которой выбрасывает в виде «черной бомбы», похожей по форме на саму каракатицу, чем дезориентирует врага: «бомба», кроме того, еще и взрывается, образуя дымовую завесу. 50 эйре 1981 года несет на себе лангуста, способного издавать громкие звуки, — рыбы при этом пугаются и теряют добычу, которая достается лангусту.

Значительную дань морской тематике отдают монеты Сейшельских островов. На алюминиевой монете 1 цент 1976 года замер абудефдуф — яркая рыба тропических морей, обычно летящая стрелой среди коралловых рифов. Монета 5 центов 1976 года запечатлела трехполосового луциана — рифового окуня. Многие луциановые могут вызывать отравления, называемые сигуатерой (поражается нервная система). Крупное отравление произошло с британскими солдатами в 1748 году, когда они хотели захватить остров Маврикий. Полторы тысячи солдат вышли из строя, и план захвата острова сорвался.

Ряд оригинальных монет привнесли в коллекции нумизматов Фолклендские острова. На однопенсовике 1985 года стоят два субантарктических пингвина; на двухпенсовике из красной бронзы пролетает большой магелланов гусь; на никелевой монете 5 пенсов 1974 года в стремительном полете запечатлен красавец альбатрос.

Достойным комплектом отмечен животный мир Танзании. На 10-лестковой монете 10 центов 1981 года мы видим бегущую бурчеллиеву зебру, истребленную еще в 1910 году. На 20-центовике представлен африканский страус, поражающий своей величиной. Высота его — 270 сантиметров, масса — 70—90 килограммов.

Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного редактора).
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Юрий ШИНКАРЕНКО

Художественный редактор
Дмитрий ЛИТВИНОВ

Технический редактор
Людмила БУДРИНА

Корректор
Ольга НАГИБИНА

Адрес редакции:

620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. Декабристов, 67
Телефоны отделов:
22-36-62 (фантастики),
22-45-01 (краеведения, секретариат),
22-10-74 (писем, науки и техники),
22-04-81 (прозы и поэзии, публицистики,
молодежных проблем)

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке, через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати». Бракованные экземпляры отправлять в типографию издательства «Уральский рабочий».

Слано в набор 06.11.90.
Подписано к печати 24.12.90.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,82.
Уч.-изд. л. 13,2.
Усл. кр.-отт. 11,34.
Тираж 410 000.
(1-й завод: 1—200 000).
Заказ 348.
Цена 80 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий»
620151, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки
фото Виктора Гуменюка.

© «Уральский следопыт». 1991 г.

ЗООСАД НА МОНЕТАХ Г. Мурзин

Страусов можно видеть в стаде с зебрами и антилопами; обладая необыкновенной силой зрения, они служат для них как бы сторожами. На серебряном диске монеты в 25 шиллингов 1974 года скачут три жирафа. На монете-гиганте диаметром 42 миллиметра достоинством 50 шиллингов 1974 года демонстрирует свои рога черныи африканский носорог — один из пяти видов, сохранившихся до настоящего времени (описано уже 20 исчезнувших видов).

На монетах Новой Зеландии много птиц. На 1 пени 1952 года среди тропических зарослей разместили новозеландский туй — главный опылитель эвкалиптов. На флорине 1965 года показывает свой длинный клюв необычная птица киви, численность ее стремительно уменьшается, главным образом, из-за завезенных в страну врагов киви — кошек, собак, ласок; птица находится под охраной. На монете в 6 пенсов 1965 года изображена гуйя — пещная лесная птица. Став жертвой коллекционеров, гуйя в начале нынешнего века была полностью истреблена и осталась в памяти как священная птица аборигенов Новой Зеландии — маори. Туатара, или гаттерия — единственный, сохранившийся лишь на нескольких мелких островах Новой Зеландии представитель клювоголовых пресмыкающихся, изображена на монете 5 центов 1969 года.

Перечень экзотических животных продолжает Папуа — Новая Гвинея: куксус, изображенный на никелевой монете 10 тойя 1975 года — сумчатое животное, похожее на обезьян. На монете 20 тойя 1975 года замер казуар мурук — большая нелетающая птица, которая имеет еще более недоразвитые верхние конечности, чем у страусов и нанду.

На индонезийской монете 50 рупий 1971 года представлена большая райская птица. Во время тока собираются сразу 20—30 самцов и демонстрируют красоту своего оперения. Первым европейцем, узнавшим о существовании райских птиц, был Магеллан.

Небольшое государство Белиз представляет вернисаж из шести экзотических птиц: вилхвостый коршун, вилхвостая мухоловка размером с воробья, длиннохвостый колибри, мотот — родственник известного нам зимородка, великолепный фрегат, красный ара — один из более чем 300 видов попугаев, перья которого использовались индейцами как украшение и для оперения стрел.

В Малави отчеканены три монеты с изображением птиц. На 1 тамбала 1971 года кукарекает петух. На монете 2 тамбала того же года восседает райская вдовушка, получившая свое название за скромный коричнево-черный наряд в гнездо-

вый период. На никелевом кружочке 5 тамбала стоит рыжая цапля...

Причудливые обычаи птиц и связанные с ними легенды демонстрируют монеты Ботсваны. На монете 5 тхебе 1981 года изображен красноклювый токо, представитель птичьих носорогов; когда приходит время кладки яиц, самка замуровывает себя на шесть недель в дуле, остается лишь небольшая щель для передачи корма от самца; птенцы также сидят замурованными, пока не обретут способности к полету. На никелевой монете 50 тхебе 1976 года представлен орлан-крикун, являющийся украшением африканских рек и озер. За километр слышны его крики, про них говорят: «Голос Африки».

Слона, как говорится, мы уже заметили. Не остался незамеченным, конечно, и царь зверей — лев. И вот его «портрет»: на фоне горы Килиманджаро он изображен на никелевом шиллинге Восточной Африки 1952 года. Эта же композиция повторяется на 50-центовой монете 1956 года. В разное время лев изображался на монетах Албании, Мали, Парагвая и Эфиопии (в последнем случае сразу на пяти номиналах).

Леопард изображен на монете Заира 10 сенжи 1967 года (алюминий). На золотом диске диаметром 35 миллиметров отчеканены 1500 шиллингов Танзании 1974 года с изображением гепарда. Гепард — самый быстрый зверь, но лишь на короткой дистанции; укрошенные гепарды в свое время использовались для охоты на антилоп, охотничьи гепарды были известны еще в Киевской Руси. На монете Гайаны 5 центов 1967 года (желтая бронза) — ягуар. А вот изображение кугуара, или пумы — это уже монеты США, Уругвая и Аргентины; она хорошо бегаёт по горным склонам, лазает по деревьям, плавают. Рысь представлена на серебряной монете Польши достоинством 100 злотых 1979 года. Лесной кот украшает крупные монеты Венгрии — 100 форинтов (никель) и 200 форинтов (серебро) 1985 года. И, наконец, обыкновенная домашняя кошка, но местной породы — на монете острова Мэн.

Не обойдены вниманием нумизматики домашние животные и домашний скот. Родоначальником крупного рогатого скота был бык тур, уничтоженный к 1627 году. До этого он водился по всей Европе, в Северной Африке, в Малой Азии и на Кавказе. Обладал большой силой, диким и злым нравом. Охотиться на него было опасно, о чем свидетельствуют записки князя Владимира Мономаха. Был домашним в 8—6 тысячелетия до нашей эры. Быки и коровы (иногда с телятами) изображены на монетах очень многих стран.



На большом алюминиевом кружке отчеканена монета Коморских островов 5 франков 1984 года с изображением латмерии — единственного современного представителя кистеперых рыб. Впервые была поймана в 1938 году, к настоящему времени выловлено всего лишь несколько десятков экземпляров. Эта находка представляет большой интерес, так как ранее кистеперые считались вымершими.

Нужно замолвить слово и о безмолвных. На монетах Ганы и Гвинеи изображена раковина каури, в древности у многих народов она сама употреблялась как разменная монета, в том числе и на Руси в XII—XIV веках. На никелевой монете Сейшельских островов достоинством 1 рупия 1976 года изображена большая морская улитка тритон, имеющая немалые заслуги перед Сейшельскими островами. 55 из 92 островов этого архипелага являются коралловыми. В 1960 году крупная морская звезда акантастер («терновая



корона») в условиях необычно бурного размножения напала на острова, так как питается живыми кораллами, и звезды пожрали огромное их количество, оставив после себя почти полностью мертвые подводные скалы. Спали острова тритоны, так как только они могут пожирать «терновую корону», имеющую диаметр до 50 сантиметров.

Комодосский варан изображен на золотой монете Индонезии 100 000 рупий 1974 года (одна из многочисленных монет из драгоценного металла, доступная лишь весьма богатым зарубежным коллекционерам). Орангутан представлен также Индонезией на огромном серебрянном диске диаметром 42 миллиметра 1974 года с номиналом 5 000 рупий. Звездчатый летрин показан в стремительном движении на небольшой монете Объединенных Арабских Эмиратов 5 филсов 1973 года (красная бронза). Чрезвычайно яркая



и разнообразная окраска с резко контрастными цветами позволяет этим рыбам хорошо скрываться в пестром мире подводных джунглей (поэтому летрина часто называют «Мата Хари» — по имени легендарной австро-венгерской шпионки периода первой мировой войны).

Есть ли где знакомый нам бурый медведь? Да, на монете Андорры в два динара 1984 года, на серебрянной монете Польши 100 золотых 1983 года.

Рог изобилия природы еще не опустел. На этом можно завершить наше калейдоскопическое путешествие по саваннам Африки, пампасам Америки, джунглям Амазонки, северным лесам Скандинавии. Мы увидели огромный и разнообразный мир животных — такой фантастический и богатый. Знакомство с ним должно вселить надежду на то, что этот мир будет сохранен для потомков на нашей прекрасной планете.



Фото Олега Капорейко



зоосад



на
МОНЕТАХ